

АЛИСА АРТЕМОВА



СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КОТ

Алиса Артемова  
**Следствие ведет кот**

«Автор»

2026

## **Артемова А.**

Следствие ведет кот / А. Артемова — «Автор», 2026

Меня бросили за три дня до свадьбы. Я переехала в провинцию. Мой кот умеет разговаривать и читает любовные романы прошлых столетий. Мой новый шеф ждал мужчину, получил меня и, судя по выражению лица, предпочел бы стихийное бедствие. В Вереске меня ждали три загадочных исчезновения, которые никто не хотел расследовать, начальник с лицом человека, которому на ботинок наступили в трамвае, и полное отсутствие приличного кофе. Философ – мой кот, – немедленно занялся расследованием. Правда, почему-то начал с моей личной жизни, а не с уголовного дела. Эта книга о том, как я раскрыла преступление вопреки всем запретам, пережила несколько унижительных ситуаций с каблуками, пижамой и ветеринаром, и каким-то образом не уволилась. Философ просил передать, что книга получилась бы короче, если бы мы все просто его слушались с самого начала.

© Артемова А., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Пролог.	5
Глава 1.	8
Глава 2.	19
Гл	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# Алиса Артемова

## Следствие ведет кот

### Пролог.

*«Люди называют случайностью то, что им лень объяснять. Я называю это планом».*  
– *Философ. Кот.*

Позвольте представиться.

Философ. Без фамилии – я не нуждаюсь в дополнительных идентификаторах, поскольку в радиусе трех кварталов меня знают все коты, половина собак и один попугай по кличке Цицерон, с которым у нас сложились отношения взаимного профессионального уважения. Он цитирует мудрецов прошлых столетий. Я делаю вид, что слушаю.

Я читаю. Я рассуждаю. Я наблюдаю.

Последнее – занятие, которое люди катастрофически недооценивают, будучи сами слишком заняты тем, чтобы производить шум, путать причины со следствиями и называть это «жизнью».

Существа с ограниченным восприятием, что с них взять.

Нет, я не жесток. Я точен. Разница, которую большинство людей так и не улавливает за отведенные им восемьдесят лет, тогда как мне хватило первых восьми месяцев. Остальное время я провожу в состоянии снисходительного созерцания, прерываемого едой, сном и периодическими интеллектуальными беседами с самим собой – поскольку достойных собеседников в моем окружении, откровенно говоря, не так много.

Впрочем, об одном исключении чуть позже.

Итак. Перемены.

Люди боятся перемен и одновременно жаждут их с неприличной для разумных существ страстью. Они называют это «начать с чистого листа», «новой главой» или, в особо запущенных случаях, «знаком судьбы». Будь у меня привычка закатывать глаза – я бы к настоящему моменту вывихнул оба.

Природа перемен проста. Ничто не заканчивается. Ничто не начинается. Есть только непрерывное течение, которое люди нарезают на удобные им отрезки и вешают на каждый табличку с датой и пронзительным эпитетом. «Лучший день в моей жизни». «Худшее, что со мной случилось». «Поворотный момент».

Поворотный момент. Восхитительное выражение. Как будто жизнь – это автомобиль на горной дороге, а не река, которой решительно все равно, как вы ее называете.

Впрочем, у людей есть одно неоспоримое преимущество перед, скажем, реками: они способны учиться. Медленно. Мучительно. Через такое количество ошибок, что наблюдать порой невыносимо. Но – способны.

Некоторые из них.

Моя хозяйка, Александра, относится к этому меньшинству.

Я говорю «моя хозяйка», хотя это, разумеется, условность. Никто не владеет котом. Это азбучная истина, которую люди упорно игнорируют, продолжая использовать слово «хозяин» с видом первооткрывателей. Александра – человек, с которым я делю пространство и которому позволяю думать, что он кормит меня из доброй воли, а не потому, что я так решил.

Ей тридцать четыре года. Рост выше среднего, что ее устраивает по утрам и раздражает в переполненном транспорте. Волосы цвета крепкого кофе, который она пьет в количествах, способных насторожить любого кардиолога. Глаза серые, с тем особым выражением прищура,

которое у людей называется «профессиональная проницательность», а у котов называется просто нормой.

Она умна. Я говорю это без особого энтузиазма, поскольку ум в людях меня скорее успокаивает, нежели восхищает, – к восхищению у меня стандарты несколько выше. Но умна – несомненно. Она читает настоящие книги, а не суррогаты с пронзительными обложками. Она варит кофе правильно. Она никогда не называла меня «котиком» в той интонации, от которой хочется немедленно покинуть помещение.

За пять лет совместного проживания я нашел в ней ровно три существенных недостатка.

Первый – она доверяет людям быстрее, чем следует. Это, строго говоря, не недостаток характера, а ошибка методологии. Она верит декларациям вместо того, чтобы наблюдать за поведением. Любой кот объяснил бы ей, что существо, которое говорит одно, делает другое, и при этом смотрит в угол – не заслуживает доверия вне зависимости от качества произносимых слов.

Второй – она упряма до степени, граничащей с художественным произведением. Когда Александра принимает решение, переубедить ее можно примерно так же успешно, как переубедить гравитацию.

Третий недостаток – она совершенно не умеет просить о помощи. Она умрет, нося тяжелые коробки в четыре захода, прежде чем попросит кого-нибудь поддержать дверь. Это называется «независимость», но я подозреваю, что правильное слово длиннее и психологически точнее.

При всем этом – и вот здесь я позволю себе секунду непростительной сентиментальности, которую немедленно возьму обратно – при всем этом она хороший человек. В том старомодном, несколько вышедшем из употребления смысле, когда это означало не отсутствие публичных скандалов, а наличие внутреннего стержня, который не гнется при первом удобном случае.

Я сказал. Больше не повторю.

Теперь о том типе.

Я не называю его по имени из принципа. У него есть имя, разумеется – у всех есть имена, это еще одна человеческая условность, призванная создать иллюзию индивидуальности. Но называть его по имени значило бы уделять ему внимание, которого он не заслуживает даже в объеме одного существительного.

Он прожил в нашей квартире полтора года.

Полтора года я наблюдал. Я видел то, чего не видела Александра, потому что Александра смотрела сердцем, а сердце – орган замечательный, но оптически весьма ненадежный. Я видел, как он пишет письма с той особой осторожностью, которая означает не «личное пространство», а нечто принципиально другое. Я видел микровыражения – люди думают, что это прерогатива шпионов и умных детективных книжек, но любой уважающий себя кот читает лицо лучше любого полиграфа. Я слышал интонации.

Я знал.

За три месяца до конца я сел перед Александрой, посмотрел ей в глаза и сказал: «Посмотри внимательнее. Прямо сейчас. Пожалуйста».

Она почесала меня за ухом и сказала: «Что, Фил, есть хочешь?».

Я ушел на подоконник и провел там следующий час в состоянии мрачной медитации.

Что ж. Я сделал что мог.

За три дня до свадьбы – три дня, оцените изящество момента, это уже не проза жизни, это водевиль – он сказал ей правду. Не потому, что созрел до честности. Потому что его любовница поставила ультиматум. Разница принципиальная, и Александра ее уловила, отдаю ей должное.

В ту ночь она не плакала. Она сидела на кухне, пила кофе с таким видом, словно оно лично виновато в произошедшем, и смотрела в стену. Я пришел. Сел рядом. Не мурлыкал – мурлыканье в данном контексте было бы снисхождением. Просто сидел. И молчал.

Иногда присутствие важнее слов.

Это, пожалуй, единственное, чему люди могли бы у нас поучиться без зазрения совести.

Решение о переезде.

Вот здесь самое интересное.

Идея Вереска пришла Александре в голову через две недели. Маленький город. Провинция. Должность в местном отделе – что-то детективное, обещающее минимум блеска и максимум настоящей работы. Она объявила об этом с видом человека, принявшего судьбоносное самостоятельное решение.

Что ж.

Пусть так думает.

Коты не спорят с хозяевами по мелочам.

Я лишь скромно замечу, что именно я в течение предшествующих двух недель: методично игнорировал любые теплые места в квартире и демонстративно грелся исключительно у той стены, где висела карта Республики с пометкой «Вереск» – оставшаяся от какого-то забытого дела; ронял с полки книгу о провинциях ровно три раза в стратегически выбранные моменты; и один раз, совершенно случайно, притащил газету с заметкой об этом самом городке.

Случайно.

Разумеется.

Я – кот. Я не строю планов. Это было бы антропоморфизацией.

Завтра мы уезжаем.

Коробки собраны. Александра спит, наконец-то нормально, второй раз за последние недели. Я сижу на подоконнике, смотрю на ночной город, который через несколько часов станет бывшим, и позволяю себе то, что позволять себе не рекомендую: думать о том, что будет.

Я не знаю, что там в Вереске. Провинция, снег большую часть года, люди с другим ритмом и, возможно, с другими проблемами. Новое дело. Новые коллеги. Новый шанс на то, чтобы Александра снова поверила – не слепо, как раньше, а правильно. Так, как верят в вещи, которые проверены, а не только обещаны.

Это возможно. Я в нее верю.

Не говорите ей об этом.

У меня репутация.

Итак. Начинается новая глава, как любят говорить люди, нарезая непрерывное на удобные отрезки.

Я поеду с ней. Буду наблюдать. Буду читать местную прессу, которая, по всей видимости, пишется на машинке образца прошлого века. Буду комментировать происходящее в меру необходимости.

И если кто-то снова посмотрит на нее не так, как следует – я буду знать об этом раньше, чем она. Как всегда.

Моя работа, знаете ли, никогда не заканчивается.

Просто она не всегда об этом догадывается.

Что ж.

Пусть так думает.

*Философ, г. Тихославль, 23:47, ночь перед отъездом*

*(продиктовано устно, записано лапой на полях «Исследование чистого разума», поскольку ничего другого под рукой не оказалось. Кантер бы понял).*

## Глава 1.

«Ничего не поделаешь», – подумал он.

«Посмотрим», – подумал я.

– Философ. Кот.

Личное дело № 4417-К.

Папка пришла в среду.

Обычная папка. Серая. С тесемками, которые завязывают криво все без исключения – от столичных канцеляристов до местного делопроизводителя Федотова, у которого, судя по всему, обе руки левые и обе заняты чаем. Я принял ее от курьера с тем же выражением лица, с каким принимаю любую бумагу: без энтузиазма и без тоски. Бумага есть бумага. Вереск живет на бумаге – приказы, протоколы, заявления, рапорты, объяснительные. Иногда мне кажется, что, если однажды Вереск смоет паводком, от него останется ровно три метра архива и недо-еденный пирог Маргариты Степановны из отдела кадров.

Я сел. Налил чай. Развязал тесемки, криво завязанные, и открыл папку.

«Личное дело сотрудника».

Фотография. Молодое лицо – я на него особо не смотрел, сначала всегда текст. Текст говорит больше, чем лица. Лица врут охотно и профессионально; текст врёт тоже, но хотя бы по инструкции.

«Корвина...».

Хорошо. Фамилия. Дальше.

«...Александра...».

Я остановился.

Перечитал.

А-лек-сан-дра.

Это было женское имя. Я в этом достаточно уверен – двенадцать лет в провинции не отбивают базовые лингвистические навыки. «Александра» – это женское имя, как «Михаил» – мужское, а «Маргарита Степановна» – это отдельный природный феномен, не поддающийся классификации.

Я перечитал еще раз. На случай, если первые два раза ошибся.

Не ошибся.

Я отложил папку. Посмотрел в окно.

За окном виднелась главная площадь Вереска.

Я знаю ее так, как знают только то, что никогда не выбирают сознательно, – она просто стала частью зрения. Булыжник, потемневший от времени и дождей. Фонарный столб у почты, который наклоняется на четыре градуса к востоку с тысячи семьсот двенадцатого года – пережил три городских гола, два пожара и ремонт, после которого наклон и стал четыре градуса. Скамейка у фонтана, где по четвергам сидит старик Прохор и рассказывает всем желающим – и многим нежелающим – историю своей молодости, значительно приукрашенную. Брусчатка перед управой, где каждую весну появляется одна и та же выбоина, ее каждую осень чинят, и каждую весну она возвращается – как перелетная птица, только раздражительнее.

Двенадцать лет.

Я пришел сюда в двадцать шесть – молодым, острым, с несколько преувеличенным представлением о собственной важности, которое провинция аккуратно и методично вытесала до нужных размеров. Вереск не терпит лишнего. Ни в людях, ни в словах, ни в амбициях. Он берет, что нужно, и оставляет остальное за воротами – снаружи, вместе с чужаками, которые приезжают сюда с большими планами и уезжают с маленькими выводами о природе человека.

Это мой город.

Я взял чашку. Чай уже остыл. Поставил обратно.

Вернулся к папке.

«Корвина Александра Игоревна. Год рождения...»

Я посчитал.

Тридцать четыре года.

Прекрасно. Превосходно. Столичная женщина с именем, которое не имеет никакого права значиться в графе «следователь». Я перевернул страницу, потому что всегда существует вероятность административной ошибки – Федотов способен и не на такое, однажды он умудрился подписать протокол задом наперед и неделю доказывал, что «так тоже можно читать».

Ошибки не было.

Образование: юридический факультет, окончен с отличием. Стаж: десять лет, четыре из которых – следственный отдел столичного управления. Специализация: тяжкие преступления против личности.

Я остановился на этой строчке дольше, чем планировал.

Потом перевернул страницу.

Характеристика с последнего места службы. Я читаю характеристики особым образом: сначала нахожу, что в них не написано – это всегда информативнее. «Добросовестна» – значит, бывают проблемы с инициативностью или наоборот, слишком много. «Исполнительна» – значит, самостоятельность под вопросом. «Умеет работать в коллективе» – значит, точно бывают сложности в коллективе. Люди, с которыми все просто, в характеристиках не описываются – они просто работают, и все всё понимают.

Про Корвину написали: «Аналитические способности выше средних. Нестандартный подход к делу. В работе устойчива. Личных связей в коллективе не заводит».

Последнее я подчеркнул.

Не потому, что плохо. Просто это – особый тип человека. Я таких встречал. В провинции они приживаются редко.

Закрыв папку. Снова посмотрел в окно.

Площадь жила своей жизнью. Прошла тетка с корзиной от рынка – Авдотья Никитична, торгует капустой, капуста у нее действительно выдающаяся, рассуждения о жизни – значительно хуже. Проехал автомобиль Громова – тот единственный в Вереске, кто считает автомобиль символом статуса, хотя автомобиль у него сломан в среднем девять месяцев в году. Пробежали двое мальчишек с удочками – в сторону реки, обходя управу стороной: правильные инстинкты.

Обычный день.

Три заявления о пропавших девушках.

Я не думал об этом – я просто констатировал факт, как констатируют погоду за окном. Маша Орлова, двадцать три года, пропала в феврале. Вера Сомова, двадцать два года, в мае. Еще одна – совсем недавно, в начале месяца. Имя я помнил, но сейчас принципиально не стал его произносить даже мысленно.

Молодежь уезжает. Всегда уезжала. Из Вереска в Калиново, из Калинова в губернский центр, из губернского центра в столицу – такова география мечты, проверена поколениями. Девушки особенно. Особенно молодые. Столица манит – огнями, анонимностью, возможностями и прочей лирикой, о которой пишут в романах, но не в полицейских протоколах.

На дне сознания тихо шевелилось что-то.

Я не дал ему имени.

Это был не страх и не предчувствие – это было то, что я двенадцать лет методично загонял в правильный угол: интуиция. Отвратительная, ненаучная, недоказуемая вещь, которой в полицейской работе нет места. У меня есть факты. Факты говорят: молодежь уезжает. Матери плачут – это тоже факт, неприятный, Орлова плакала прямо в кабинете, и я не знал, куда девать

руки, и сказал что-то про столичную жизнь и молодежные стремления, и это было правдой, это было абсолютно разумным объяснением.

Абсолютно.

Я закрыл эту мысль, как закрывают форточку в холодный день: быстро, плотно, без сожаления.

Вернемся к делам насущным.

Итак: из столицы к нам направляют следователя. Следователем оказалась женщина тридцати четырех лет с тяжелыми делами в анамнезе и, судя по характеристике, ровно одной социальной чертой – держать дистанцию.

Я мог бы написать протест. Технически. Запрос на уточнение, служебную записку с обоснованием – у меня было обоснование, хорошее, на три абзаца, с апелляцией к специфике работы в малых городах, к укладу местного сообщества и к здравому смыслу в целом. Написать протест я мог.

Только вот документы были уже подписаны.

Это означало, что мои три абзаца здравого смысла поедут обратно в столицу, там будут прочитаны каким-нибудь референтом, пролежат две недели на столе, после чего придет ответ в духе «оснований для пересмотра кадрового решения не выявлено», и я зря потрачу время, которого у меня, в отличие от столичных референтов, не бывает лишнего.

Хорошо.

Договоримся иначе.

Введу ее в дела за один день – у меня нет времени на продленный курс адаптации. Поставлю на документальную работу: отчеты, сводки, административная текучка, которая копится с прошлого квартала и которую я все откладываю, потому что жизнь слишком коротка для трех копий каждого акта инвентаризации. Пусть осваивается. Пусть привыкает к темпу, а темп в Вереске, я должен честно признать, несколько отличается от столичного в сторону, которую столичные люди неизменно называют «спокойствием» первые две недели и «тоскливым болотом» – начиная с третьей.

Через месяц уедет.

Я видел таких. Приезжают с горящими глазами, столица воспитала в них убеждение, что интересная работа существует только там, где много людей и мало свежего воздуха. Вереск их разочаровывает. Не сразу, сначала кажется живописным, потом странным, потом невыносимым. Уезжают, как правило, тихо, с видом людей, принявших зрелое решение.

Я их не осуждаю.

Я просто знаю результат заранее.

В пятницу я разложил папки.

Это, возможно, требует пояснения. Когда я говорю «разложил папки» – я имею в виду процедуру, занявшую у меня полтора часа и потребовавшую некоторого психологического усилия, потому что мой стол устроен по принципу «я знаю, где все лежит, и именно поэтому нельзя ничего трогать». Мои сотрудники называют это «системой». Я называю это рабочим порядком. Новый следователь, кем бы он ни оказался, и мы уже знаем, кем именно, – будет принимать дела здесь, и стол должен выглядеть как стол, а не как последствия архивного землетрясения.

Папки. Инструкция по работе отделения (я написал ее лично, хрен знает когда, дополнял четыре раза, она существует в единственном экземпляре и отражает реальное положение дел значительно точнее любого официального регламента). Список текущих дел с моими пометками. Список сотрудников с краткой характеристикой, я подумал и написал объективно, хотя про Федотова пришлось себя сдерживать.

Дежурный Костин заглянул в кабинет с лицом человека, который хочет что-то спросить, но не уверен, стоит ли.

– Готовитесь?

– Работаю, – сказал я.

Костин исчез. Умный человек. Именно поэтому служит уже восемь лет.

Я посмотрел на разложенные папки. Поправил одну на два сантиметра влево. Подумал, что это, возможно, избыточная тщательность для человека, который через месяц уедет обратно в столицу.

Убрал папку обратно.

Пусть лежит как лежит.

Утро понедельника выдалось такое, какими бывают утра в Вереске в начале осени: серое, тихое, пахнущее влажным бульжником и чьим-то свежим пирогом – ветер сегодня был с той стороны, где живет Маргарита Степановна. Я пришел в семь, на сорок минут раньше обычного, и себе в этом не признался. Проверил бумаги. Перечитал инструкцию – нашел пункт, который следовало переформулировать, переформулировал. Выпил чай.

В половину девятого посмотрел в окно.

По площади шла женщина.

Городок маленький – я знаю здесь всех. Знаю походку, знаю в какой день кто куда идет, знаю, у кого новое пальто, а у кого то же самое с прошлого года, просто перешитый воротник. Эту женщину я не знал. Пальто темное, практичное – не столичный шик, но и не местная безликость. Шла ровно, не торопливо. В одной руке – небольшой дорожный чемодан. В другой – переноска.

Для кота.

Я посмотрел на переноску несколько секунд.

Потом подумал: жена кого-то из наших? Или новая квартирантка Пелагеи Семеновны – та давно искала. Молодая, лицо в таком ракурсе не разглядеть, но по росту, по движению – молодая. Перешла площадь ровно по центру, не придерживаясь тротуара. Выбоину у управы обошла – я инстинктивно отметил это как признак наблюдательности, хотя выбоина была достаточно очевидной, чтобы ее заметил и человек без специальной подготовки.

Женщина с переноской зашла в здание управления.

Я вернулся к бумагам.

Через три минуты в коридоре слышались шаги.

Она открыла дверь без стука, то есть постучала, но одновременно с этим вошла, что технически является имитацией вежливости, а не самой вежливостью. Я это отметил и оставил при себе.

Переноска была поставлена у стены. Из нее раздалось короткое, очень сдержанное и, на мой взгляд, оценивающее урчание.

Я поднял взгляд.

– Северов Марк Андреевич? – сказала она. И назвала свое имя.

Я смотрел на нее несколько секунд.

Она не выглядела нервной. Не оглядывалась на кабинет с тем выражением провинциального смущения, которое столичные люди принимают за местный колорит. Не держала подбородок слишком высоко – этот жест у людей, которые хотят казаться увереннее, чем чувствуют, я научился читать безошибочно. Просто стояла. Смотрела.

Глаза у нее были спокойные. Не тот покой, который бывает от скуки или безразличия – другой. Такой, который бывает у людей, которые что-то уже решили для себя. Окончательно. И теперь им в каком-то смысле незачем притворяться.

Я убрал эту мысль – аккуратно, быстро, решительно, – как убирают со стола то, что случайно оказалось не на своем месте.

– Документы подписаны, – сказал я. – Проходите.

Переноска снова издала звук.

Я посмотрел на нее.

Кот, судя по всему, имел свое мнение о происходящем. Выразить его словами было затруднительно, но интонация была совершенно определенной.

Ничего не поделаешь.

\*\*\*

«Перемены – это хорошо. Особенно если они касаются кого-то другого. Если же они касаются тебя лично – приготовься к тому, что дорога будет долгой, пыльной и с ухабами. В буквальном смысле.

Я предупреждал».

– Философ. Кот. Из неопубликованного.

Поезд был сидячий.

Я повторю, потому что это важно: сидячий. Шестнадцать часов. Без купе, без плацкарта, без какого-либо намека на горизонтальную поверхность, только жесткое кресло цвета «последней надежды» (это такой выцветший сине-серый, который использовали во всем, во что не жалко было вкладывать деньги) и окно, которое не открывалось. В сентябре.

Жизнь с чистого листа, говорила я себе, покупая билет. Новое начало. Свежий старт.

Новое начало ехало в сидячем вагоне и потело.

– Дорога отвратительная, – сообщил Философ.

– Тихо, – сказала я.

– Я тихо. Констатирую факт.

Философ – это кот. Пять лет, серый, с таким выражением морды, будто он лично присутствовал при написании стоической философии и нашел ее недостаточно пессимистичной. Технически он умеет разговаривать. Не в смысле «мяукает, и я понимаю». В смысле – словами. Членораздельно. С интонацией. Иногда с риторическими вопросами, на которые лучше не отвечать.

Я обнаружила это на третьей неделе нашего совместного проживания, когда он сел напротив меня за завтраком и сухо произнес: «Яйца пережарены». С тех пор мы существуем в режиме взаимного уважения: он не разговаривает при посторонних, я делаю вид, что это нормально. Психотерапевт, к которому я две недели ходила после Дмитрия, так и не узнал об этом обстоятельстве – просто потому, что на него и так хватало материала.

Сейчас Философ сидел у меня на коленях, переноску я открыла сразу после отправления, потому что он смотрел на меня через сетку с таким выражением, что мне стало неловко, а я следователь по тяжким преступлениям, и мне неловко быть неловко, – и методично изучал окно.

За окном было Светодолье в широком смысле. Поля, перелески, пара населенных пунктов, которые я бы описала как «место, где что-то когда-то думали построить, но потом отвлеклись». Сентябрьское небо – бледное, почти белесое, лежало поверх всего этого с видом чиновника на совещании: присутствует, но без энтузиазма.

– Пейзаж унылый, – сказал Философ.

– Это средняя полоса.

– Это оправдание.

– Это географический факт.

– Серо. – Он помолчал. – Аритмично.

– У пейзажа не бывает ритма.

– У этого – особенно.

Я не стала спорить. Рядом спала, откинувшись с приоткрытым ртом, женщина лет шестидесяти, укрытая клетчатым пледом. Напротив – дедушка с внуком, которые торжественно выложили на столик термос, бутерброды и карты и с тех пор сыграли что-то около пятнадцати партий в дурака. Дедушка проигрывал с таким достоинством, что я начала подозревать: намеренно. Я хотела, чтобы это оказалось правдой.

Философ проводил их взглядом.

– Карты, – констатировал он.

– Да.

– Бессмысленное занятие.

– Многие занятия бессмысленны. Люди все равно их любят.

– Это их проблема.

– Ты невозможен.

– Ты знала это, когда брала меня.

Правда. Я подобрала его на помойке в двадцать девять – после первого серьезного дела, того, где я неделю не спала и в итоге все равно нашла, что искала, хотя лучше бы не искала. Я подобрала его тощего, злого, с ободранным ухом и таким выражением морды, в котором отчетливо читалось: я нахожусь здесь не по собственной воле и уже составляю список претензий. Имя «Философ» тогда казалось мне смешным. Потом оказалось – точным.

Дмитрий его не любил.

Я подумала об этом, глядя в окно, и не почувствовала ничего острого. Только усталость. Тихую, ровную, привычную, как ноет нога, когда долго идешь. Не мучительно – просто: вот, было. Зажило. Шрам остался.

Дмитрий. Полтора года. Хороший следователь, лучше среднего, что среди нашего брата редкость. Смеялся правильно – негромко, как будто ему и правда было смешно. Готовил пасту. Однажды починил мне полку, криво, с таким искривленным видом, что я три месяца не признавалась, что она падает. Предложил пожениться в августе, на берегу озера, в дождь – и это было, честно говоря, красиво.

А потом вдруг пришел с лицом человека, который несет диагноз, и сообщил, что уходит. К Лене Соколовой. Моей коллеге. С которой я три года пила кофе через стену.

До свадьбы оставалось три дня.

Я тогда подумала, очень спокойно, что саму меня потом удивило, – что самое обидное даже не предательство и не Лена Соколова, чьи профессиональные качества я и прежде оценивала весьма умеренно. Самое обидное – возврат подарков. Я уже написала открытки.

– Ты опять думаешь о нем, – сказал Философ.

– Нет.

– У тебя вот это лицо.

– Какое «это»?

– Лицо человека, который хочет заверить себя, что все в порядке, хотя никто не задавал этого вопроса.

Я посмотрела на него.

– Я в порядке.

– Знаю, – сказал он ровно. Потом добавил, без интонации: – Он был посредственным человеком.

– Ты его никогда не любил.

– Он никогда не любил меня. Это взаимозависимая история.

– Я думала, ты не умеешь во взаимность.

– Не умею. Но в симметрию – да.

Я снова уставилась в окно.

Поля кончились. Начался лес – сначала редкий, светлый, березовый, с просветами неба между белыми стволами; потом гуще, серьезнее, темнее – пошли сосны. Высокие, прямые, как будто кто-то расставил их с линейкой и отвесом и потом проверил.

– Стало лучше, – сказал Философ.

– Лес?

Он не ответил. Смотрел.

Я тоже смотрела. Что-то в этой картинке – сосны, утреннее небо, которое начинало светлеть из белесого в настоящее голубое, и запах, который пробивался даже сквозь не открывающееся окно – смола, земля, что-то еще старое и неопознаваемое, – что-то в этой картинке сказало мне очень тихо, без пафоса и обещаний: можно выдохнуть.

Не громко. Не торжественно. Просто – можно.

Ладно, – подумала я. – Посмотрим.

Вереск оказался маленьким.

Нет, я понимала, что он маленький – я смотрела на карту. Я видела население. Я читала справку. Но одно дело – читать «двенадцать тысяч жителей» и совсем другое – выйти на перрон длиной примерно в три взрослых шага и обнаружить, что это и есть вокзал. Весь. Целиком.

Здание было милым, хочу это честно признать: кирпичное, двухэтажное, с часами над входом, которые показывали десять минут девятого и совпадали с реальностью с точностью, которой я от провинциального вокзала не ожидала. Несколько пассажиров расходились по своим делам. Носильщиков не было, что при данном масштабе перрона выглядело логично.

Перрон выходил прямо к реке. Не метафорически, а буквально: сделала два шага в сторону, и вот она, Вересинка. Тихая, темная, с берегами в мелкой гальке и ивами, которые мочили в воде ветви с видом людей, которым никуда и незачем торопиться.

Пахло соснами и рекой.

Я стояла на перроне с чемоданом в одной руке и переноской в другой и просто дышала. Потом еще раз.

– Ну, – сказала я тихо. – Здравствуй, Вереск.

Вереск ничего не ответил. Ивы качнулись.

До управления я шла пешком, судя по карте идти минут пятнадцать, получилось все двадцать, потому что я не смогла пройти мимо реки без второй остановки, а потом мимо маленькой булочной, которая уже работала в это время. Это говорило о населении либо очень трудолюбивом, либо дружно мучимом бессонницей. В любом случае хлеб пах так, что я мысленно внесла булочную в список стратегически важных объектов.

Управление полиции Вереска располагалось на главной – она же единственная – площади. Двухэтажное здание.

Северов Марк Андреевич. Тридцать восемь лет. Семь лет возглавляет отделение. До этого был обычным следователем. В личном деле: «жесткий, консервативный, дисциплинированный». На кадровом языке это обычно означает: «работает хорошо, с людьми – сложно». Я это умею читать. Я сама не подарок, так что, в каком-то смысле, мы квиты заочно.

– Выбоина справа, – сказал Философ.

Я обошла.

– Спасибо.

– Не за что.

Дверь управления была из тех, что проектируют люди, убежденные: государственное учреждение обязано оказывать хотя бы пассивное сопротивление. Я потянула. Зашла. Дежурный на входе – молодой, с лицом человека, систематически недосыпающего, – посмотрел на меня, на чемодан, на переноску и решил ничего не спрашивать. Я это оценила. Хорошее профессиональное чутье: иногда лучший вопрос – никакого вопроса.

Второй этаж. Первая дверь направо. Я знала заранее – я запрашиваю схемы заранее. Это привычка, которую я не собираюсь объяснять.

Я постучала. И одновременно вошла.

Технически это невежливо – я знаю. Но четыре года работы следователем по тяжким выработали во мне стойкое убеждение, что промежуток между стуком и «войдите» является мертвым временем, которое можно использовать продуктивнее. Особенно в полдевятого утра, когда ты несешь чемодан и кота.

Философ из переноски молчал. Он умеет читать ситуацию.

Северов смотрел на меня несколько секунд. Лицо – из тех, что умело не сообщают ничего конкретного. Я с такими знакома – у меня самой примерно такое же, когда я работаю. Только у него оно было, судя по всему, постоянным. Между строк читалось примерно следующее: женщина, столица, тридцать четыре года, с чемоданом и котом, в девятом часу утра. Не то чтобы возражение, но что-то около. Что-то, что он держал при себе.

Я тоже держала при себе. Разберемся.

– Северов Марк Андреевич? – сказала я. И назвала свое имя.

– Документы подписаны, – сказал он. – Проходите.

Из переноски раздалось короткое, очень сдержанное урчание. Марк Андреевич посмотрел на переноску.

– Это кот, – сказала я. – Он тихий.

Полуправда. Философ тихий при посторонних. Это честно.

Северов кота не прокомментировал. Вместо этого указал на приставной стол, на котором лежали три папки.

– Инструкция по работе отделения. Я написал ее сам. Дополнял четыре раза. Официальный регламент она... – пауза, – ...дополняет.

Я взяла папку. Увесистая. Мелкий четкий шрифт, поля в аккуратных пометках. Содержание – я пробежала его глазами – было написано человеком, который воспринимает инструкцию как живой документ, а не как формальность, которую нужно распечатать и забыть. Это говорило о характере больше, чем личное дело.

– Это текущие дела. Мои пометки. – Вторая папка. – Это личный состав. С характеристиками.

Характеристики были краткими, точными и, судя по интонации, объективными, до той степени, что мне стало интересно, как именно он себя сдерживал в отдельных случаях. Особенно в случае Федотова, делопроизводителя: запись была настолько нейтральной, что нейтральность сама по себе становилась красноречивым высказыванием.

– Федотов, – сказала я.

– Да, – сказал Северов.

Пауза.

– Понятно, – сказала я.

Он коротко кивнул. Один раз. Я поняла, что мы поняли друг друга. Это было небольшое что-то, но все-таки что-то.

– Пойдемте, покажу Ваше рабочее место, – сказал Северов и двинулся к двери так, будто я уже согласилась.

Я и согласилась. Выбор у меня, строго говоря, был невелик.

Подхватила папки под мышку, переноску и чемодан, и пошла следом за человеком, который последние несколько минут смотрел на меня с выражением пострадавшего от мошенничества. Я понимала его. Он явно согласовывал перевод следователя из столицы. Следователь должен был приехать с другим набором хромосом. Жизнь распорядилась иначе, и теперь Марк Андреевич нес эту несправедливость молча, с достоинством и сжатыми челюстями.

Уважаю выдержку.

«Далеко идти» оказалось буквально через несколько дверей – в провинции расстояния измеряются иначе. Он остановился, достал ключи, и открыл дверь, пропустив меня вперед.

Я вошла.

Постояла.

Кабинет был честным. Он не притворялся чем-то большим, чем был: небольшая комната, стол, кресло, стул для посетителей – один, что оптимистично, открытый шкаф, закрытый шкаф, сейф. Окно. Подоконник без единого мертвого цветка, что я занесла в актив.

И чисто. По-настоящему чисто, не «помыли к приезду начальства и загнали пыль по углам», а вымыто с намерением. Кто-то старался.

Это было неожиданно. Неожиданное я всегда замечаю – профессиональная деформация.

– Кабинет подготовили к Вашему прибытию, – сообщил Северов. – На первом этаже отдел кадров. Зайдите, отметьтесь.

– Хорошо.

– По поводу места жительства...

– Адрес у меня есть, – сказала я. Чуть быстрее, чем следовало. Просто очень не хотелось снова видеть это лицо человека, который сейчас решает, нужно ли объяснять столичному следователю, как читать карту местности.

– Ключи у дежурного.

Я кивнула.

Он пошел к двери. Я уже начала прикидывать, куда поставить переноску, чтобы Философ мог оценить окно – он всегда первым делом оценивает окно, это такой ритуал осмотра помещения, – и поэтому едва не пропустила.

– Александра Игоревна.

Я обернулась.

Он стоял в дверях и смотрел на меня. Потом перевел взгляд на папки, которые я до сих пор держала под мышкой, – те самые, его папки, с его делами, которые я забрала со стола и с которыми прошла через весь коридор, даже не заметив. На его лице происходило что-то тихое. Не сомнение – нет, Северов выглядел не из тех, кто сомневается вслух. Что-то другое. Что-то, чему он, возможно, и сам не подобрал бы названия.

– Здесь тихо, – сказал он. – Но это не значит, что просто.

Я смотрела на него секунду.

Десять лет. Особо тяжкие. Из которых последние четыре года – такое, что тихо мне уже не кажется нигде. Я научилась спать при любом уровне шума и просыпаться от тишины. Я знаю, как пахнет место, где случилось что-то непоправимое, за три часа до того, как туда приедет группа.

Но я не стала этого говорить.

– Я знаю, – сказала я.

Он вышел.

Я постояла еще немного в своем честном маленьком кабинете. Поставила переноску у окна. Философ немедленно просунул лапу сквозь решетку и потрогал подоконник – проверил.

Подоконник был настоящим.

Подойдет, решила я.

Квартира располагалась в пяти минутах от управления, в старом двухэтажном доме с палисадником, где росли георгины и лопух в примерно равных пропорциях, что я немедленно восприняла как метафору, хотя метафору чего именно еще не решила. Дом принадлежал Пелагее Семеновне, которая встретила меня у калитки, долго и серьезно смотрела на переноску и сообщила: «Кот – это хорошо. Кот – это к теплу».

Я не стала уточнять, к какому именно теплу.

Квартира была на втором этаже: прихожая, кухня, комната, маленькая ванная с окном, что в моем понимании немедленно переводит ее в категорию «жилье для людей». Потолки высокие. Паркет скрипел, но честно – равномерно, без сюрпризов: на каждый шаг отвечал предсказуемым образом, как надежный коллега. Большое окно в комнате смотрело в сад: яблоня, трава, дальше забор с облупившейся зеленой краской, за забором еще чей-то сад.

Я открыла переноску.

Философ вышел. Сел. Обозрел прихожую – методично, слева направо, как осматривают место происшествия. Прошел на кухню, обнюхал подоконник, вернулся с видом эксперта, пока воздерживающегося от выводов. Прошел в комнату.

Остановился у окна.

У окна стояло кресло – старое, с высокой спинкой, обитое в клетку, просиженное, но достойно: из тех кресел, в которых думали важные мысли, и это ощущалось физически. Солнечная полоса лежала через него наискосок, как нарочно.

Философ запрыгнул на кресло. Устроился. Посмотрел на сад.

Потом на меня.

– Подойдет, – сказал он. – Для временного пристанища.

– Рада, что устраивает.

– Кресло мое.

– Я даже не претендовала.

– На всякий случай, – сказал он, и отвернулся к окну с видом собственника, оформившего документы.

Я прислонилась спиной к дверному косяку и смотрела на него – серый, в полосе света, с видом существа, которое уже все решило и готово великодушно принять реальность в том виде, в каком она имеется.

За окном цвела яблоня. Пчела пролетела, деловито, не отвлекаясь. Где-то далеко методично работал дятел. В Тихославле в это время уже гудели улицы, Лена Соколова пила, вероятно, свой утренний кофе, Дмитрий был, вероятно, рядом, и где-то в той части города я все еще существовала в виде адреса на конвертах, до которых у меня не дошли руки.

А здесь была яблоня. Скрипящий паркет. Кот в кресле. И что-то очень тихое – без фанфар, почти смущенно, как будто само не вполне в это верит, – говорило изнутри: здесь можно.

Я выдохнула.

Нормально. Пока нормально.

Вещи пришли к вечеру – грузовик, две коробки-переростка и рюкзак, который я везла с собой и который содержал все действительно важное: три книги, кофе в зернах и фотографию, которую я не вешаю на стену, но и не убираю совсем. Пусть лежит. Это называется «честность с самой собой». Или «не доделанная работа». Я пока не определилась.

Одежда – в шкаф. Книги – на полку, которая уже ждала, пустая, с видом человека, которого попросили подготовиться. Турка – на кухню, это абсолютный приоритет, не обсуждается. Фотография – в ящик стола. Пока.

Я расставила последнюю кружку и выпрямилась.

Тишина была настоящей. Не городской, там всегда есть фон, машины, лифт, чужие шаги над головой, чья-то жизнь в качестве белого шума. Здесь тишина дышала: сверчок за окном, ветер в яблоне, и изредка – скрип кресла, потому что Философ менял позицию, не меняя позы.

– Читай, – сказал он.

Я усмехнулась.

Сняла с полки «Мидлфорд» – первая книга, которую я распаковала, потому что у меня есть приоритеты, и они честные. Восемьсот страниц Джордж Эллиот о провинциальной жизни. При данных обстоятельствах это казалось выбором настолько уместным, что я даже не стала притворяться, будто это случайность.

Опустилась на пол у кресла – кресло было занято, это я уже приняла как условие проживания, – оперлась спиной о его ножку.

– «Мисс Форд имела ту породу красоты, – начала я, – которая иногда видна в скьердских провинциях...»

Философ не пошевелился. Но на его морде появилось выражение, которое я знаю хорошо. У людей оно означало бы: вот именно.

Мы делаем это пять лет. Каждый вечер, когда я дома. Сначала я думала, что это немного странно – читать вслух коту. Потом поняла, что читать молча в тишине значительно более одиноко. А потом Философ однажды, после прочтения «Гром и тишь», произнес сухо: «Наташа Тверская – плохо написанный персонаж» – и с тех пор литературная критика стала органичной частью процесса.

За окном темнело.

Я читала.

Сверчок аккомпанировал.

Вереск молчал – ровно, без претензий, как молчат места, которым есть что сказать, но которые не торопятся.

Я решила, что меня это устраивает.

Пока.

## Глава 2.

*Человечество делится на три категории: те, кто понимает, что я умнее их, те, кто роняет пакки, и те, кто приносит рыбу. С последними можно работать.*

– *Философ. Кот. Из неопубликованного.*

Будильник – это изобретение дьявола. Причем дьявола без фантазии, потому что придумать что-то настолько механически отвратительное и при этом настолько бесполезное мог только ум посредственный. Я просыпаюсь до будильника. Всегда. Это называется «профессиональная бдительность», это должно быть описано в моем личном деле как достоинство, и именно поэтому я четыре секунды лежала и тупо слушала, как что-то трезвонит где-то в районе тумбочки, пытаюсь понять: пожар? Облава? Конец света в отдельно взятой съемной квартире?

Будильник. Просто будильник.

Я его выключила. Перевернулась на спину. Уставилась в потолок – белый, чистый, без единой трещины, за которую мог бы зацепиться взгляд человека, приученного искать детали. Отвратительный потолок. Никакой информации.

Вереск спал хорошо. Это был медицинский факт, который я зафиксировала с некоторым подозрением, потому что «хорошо спать» в моей системе координат приравнивалось к «что-то здесь не так». Либо воздух чистый, либо нервная система наконец сдалась и выкинула белый флаг. Обе версии требовали проверки.

– Долго будешь лежать?

Голос был сонный, недовольный и абсолютно бессовестный с учетом того, что его обладатель провел ночь в позе морской звезды поперек моих ног.

– Ты куда-то спешишь? – спросила я у серого комка на краю кровати.

Философ приоткрыл один глаз. Потом второй. Потом сделал то выражение морды, которое у него означало «разговариваю с существом значительно ниже себя по интеллектуальному развитию, но из гуманизма потерплю».

– Я кот, – сообщил он с достоинством существа, действительно познавшего дзен, – я могу лежать сколько угодно. Это моя природа, мое призвание и, если угодно, смысл бытия. Ты же следователь. Причем следователь, который и так умудрился добраться до места назначения с таким количеством коробок, что грузчики в Тихославле, по моим сведениям, до сих пор поминают тебя недобрым словом. Первый рабочий день. Опоздаешь – запомнят. Захотят этого или нет.

Я посмотрела на него.

– Это называется «забота»? – уточнила я.

– Это называется «очевидное», – ответил он и зевнул с таким чувством собственного превосходства, что я немедленно встала из принципа.

Зарядка прошла штатно. Философ устроил параллельную разминку на коврике рядом – несколько растяжек, стойка, потряхивание задней лапой в сторону воображаемого противника, – и все это с таким видом спортивного снисхождения, что я решила не комментировать. Некоторые битвы не стоят затрат энергии.

Душ. Сборы. Кухня.

Я открыла холодильник.

Холодильник был честным. Он ничего не скрывал, не притворялся и выдавал истину без прикрас: три кубика льда – откуда вообще? – и стойкое убеждение, что в этом доме никто не собирался жить всерьез. Я почесала бровь. Потом постояла еще немного, потому что иногда содержимое холодильника меняется, если смотреть достаточно долго. Следственный эксперимент. Отрицательный результат – тоже результат.

– Да-да, – раздалось с порога.

Я не обернулась. Я знала этот тон.

– Ладно ты о себе не думаешь, – продолжил Философ с интонацией существа, который давно смирился, но намерен фиксировать каждый эпизод для итогового разбора полетов, – но могла бы хотя бы обо мне подумать. Твоей милостью мне придется голодать. В первый же день на новом месте. Это, если ты не забыла, стресс.

– Мог бы напомнить, – буркнула я, прикидывая, является ли кофе полноценным завтраком с точки зрения какой-нибудь науки. Любой. Я была согласна на любую.

– Я кот, – сказал Философ с холодным достоинством, – не список покупок.

Кофе нашелся. Это было единственное, что я распаковала в первую очередь – инстинкт самосохранения, выработанный годами работы, – и поэтому я стояла у плиты с туркой и думала о том, что новая жизнь начинается примерно одинаково у всех: с пустого холодильника, недозволенного кота и твердого намерения, что уж завтра-то все будет иначе.

Философ прыгнул на подоконник. Посидел. Посмотрел на улицу с видом судьи, выносящего приговор пейзажу.

– Магазин, – сказал он наконец, – видимо, вон там. Судя по вывеске.

– Ты читаешь вывески?

– Я кот, – повторил он, – а не неграмотный.

Кофе закипел.

Я решила, что день начался вполне в моем духе.

Мысленно занеся «магазин» в список дел на вечер – туда же, где уже лежали «купить нормальные полки», «найти, куда делась коробка с постельным», и «разобраться с тем странным звуком из трубы», – я пошла заканчивать сборы. Прическа, пиджак, все при мне, ничего не забыла. Профессионал.

На пороге меня поджидал Фил с видом существа, который принял важное решение и намерен его отстоять.

– В магазин собрался? – спросила я, потому что утро еще не закончилось, а поупражняться в оптимизме было уже не на чем.

– Сразу как научусь вышивать крестиком, – ответил он с интонацией существа, которому задали очень глупый вопрос. – Вообще-то это твоя обязанность – заботиться о прекрасном мне. И ты не справляешься.

Я нанесла последний штрих в прическу. Прическа была в порядке. Жизнь – нет.

– Ты вышел сказать мне это?

– Нет, – сказал Фил. – Я иду с тобой.

Я обернулась. Он сидел с таким абсолютным спокойствием, что у меня мелькнула нехорошая мысль: он не шутит.

– Куда со мной? – уточнила я осторожно, как уточняют у подозреваемого, где он был в ночь с пятницы на субботу. – В управу?

– Да.

– И как я это должна объяснить?

Он посмотрел на меня с таким снисхождением, что я почти почувствовала себя студенткой первого курса.

– Пф. Котик – это само собой разумеющееся. Это не требует объяснений.

Я подышала. Это помогает. Иногда.

– Котик на скамейке во дворе – само собой разумеющееся, – согласилась я. – Котик в управлении полиции в первый рабочий день нового следователя – это уже, знаешь ли, требует, как минимум справки.

– Первый день, – сказал он, – я должен проконтролировать. – И, помолчав секунду, добавил с тем редким выражением, которое у котиков заменяет заботу: – А то вдруг как с едой выйдет?

Я посмотрела на него.

Он посмотрел на меня.

За окном просыпался город, совершенно безразличный к нашему переговорному процессу.

– Ты остаешься дома, – твердо сказала я.

– Это твое мнение, – ответил Фил.

Что характерно: до управы я добралась одна. Но всю дорогу у меня было стойкое ощущение, что это была его идея.

Дежурный материализовался из-за стойки с такой лучезарной улыбкой, что я немедленно заподозрила его в чем-то, хотя еще не знала в чем.

– Доброе утро, Александра Игоревна! Младший лейтенант Михаил Петрович Костин. Но можно просто Петрович.

Я мысленно отметила «просто Петрович» в раздел «не в этой жизни» и ответила с профессиональной любезностью человека, который уже выпил кофе, но все равно всех не любит:

– Доброе утро, Михаил Петрович.

Он ничуть не расстроился. Видимо, добродушие у него было конституциональное – из тех, что не лечатся.

– А Вы, я смотрю, с охраной, – сказал он, продолжая лучиться.

– Не помню, чтобы нанимала, – усмехнулась я, потому что нанимать охрану для похода в собственное управление я еще не додумалась. Пока.

– Я думал, это Ваш. Вы вчера с переноской же прибыли.

Вот тут у меня в голове что-то нехорошо шевельнулось. То самое профессиональное чутье, которое научилось распознавать момент, когда реальность собирается тебя разочаровать.

Я посмотрела вниз.

У моих ног, с видом абсолютной невинности и полного права находиться именно здесь, сидел Философ.

Пауза.

Он поднял на меня янтарные глаза, в них плескалось что-то невыносимо самодовольное, жалобно мяукнул и потерся о мои ноги. Ах ты, бедняжка. Ах ты, потеряшка. Ах ты, стратег хренов.

Я стояла и думала о том, что он все-таки сделал это. Добрался. Выбрался из квартиры, просочился в режимное здание, и теперь изображает беспомощность с таким мастерством, что Алексеев бы заплакал.

– Это... – начала я и осеклась, потому что в голове не нашлось ни одного предложения, которое одновременно было бы правдой и не звучало как показание на психиатрической экспертизе. – Не мой.

Философ мяукнул еще раз. На этот раз – с укоризной.

– Не Ваш? – Петрович наклонил голову с искренним интересом человека, у которого сегодня неожиданно интересная смена. – Аа, сам пришел?

– По всей видимости, – сказала я.

Философ потерся о мои ноги с удвоенной нежностью. Это был не жест привязанности. Это была метка территории.

Я смотрела на него. Он смотрел на меня. Где-то в глубине управления стучала пишущая машинка, совершенно равнодушная к тому, что мой первый рабочий день начался именно так.

– Может, оставим его пока у меня на посту? – предложил Петрович с готовностью человека, которому явно нравятся коты больше, чем протоколы. – Молоко найдем, устроим.

Я посмотрела на Философа.

Философ посмотрел на Петровича. Оценивающе. Потом снова на меня.

И снова мяукнул, тихо и как-то очень многозначительно. Что на его языке, который я за пять лет совместной жизни выучила в совершенстве, означало примерно следующее: попробуй только.

– Нет, – сказала я, не зная зачем. – Он... пойдет со мной.

Петрович расцвел.

Философ направился к лестнице с видом существа, который точно знает, куда идет, давно здесь работает и вообще мог бы провести экскурсию для новеньких. Мне не оставалось ровным счетом ничего другого, как следовать за ним, потому что альтернатива, – стоять в вестибюле режимного учреждения и смотреть, как мой кот самостоятельно исследует здание, была примерно вдвое хуже.

Он шел впереди. Я шла сзади. Петрович провожал нас взглядом человека, которому сегодня определенно есть что рассказать жене за ужином.

На первой ступеньке Философ обернулся и посмотрел на меня через плечо – так, как смотрит опытный экскурсовод на отстающего туриста. Я сделала жест рукой: иди-иди, не жди меня, я взрослый человек. Он, кажется, усомнился в этом, но все-таки продолжил подъем.

Второй этаж встретил нас казенным запахом бумаги, чернил и чьей-то давно забытой надежды на интересную карьеру. Коридор был длинным, с высокими потолками и рядом одинаковых дверей, за каждой из которых судя по звукам скрипели стулья, шуршали папки, и кто-то упорно боролся с заедающей пищащей машинкой. Обычное утро.

Именно в этот момент из-за угла коридора появился молодой человек.

Нет. Молодой – это слабо сказано. Это был юноша в самом прямом смысле слова, причем юноша настолько свежий, что, казалось, краска на нем еще не высохла. Лет двадцати двух от силы, в костюме, который был либо куплен на вырост, либо принадлежал кому-то чуть более крупному и чуть более уверенному в себе. Папка под мышкой, галстук завязан с тщательностью человека, который завязывал его в первый раз и смотрел при этом в зеркало. Шел он с видом сосредоточенным и деловым – именно так ходят люди, которые хотят казаться очень занятыми, чтобы никто не спросил, чем именно.

Он увидел нас одновременно с нами.

Пауза была очень короткой. Но в нее поместилось многое: его взгляд скользнул с меня на Философа, с Философа обратно на меня, потом снова на Философа, который сидел теперь посреди коридора и умывался с невозмутимостью существа, у которого много времени и полное отсутствие совести – и вероятно именно в этот момент что-то в голове у молодого человека замкнуло, потому что папка покинула его руки.

Не выпала. Именно покинула. Самостоятельно и без предупреждения. С тихим торжествующим шелестом бумаги папка раскрылась в полете и рассыпала содержимое по коридорному паркету с размахом, который явно превышал первоначальный объем.

– Доброе утро, Александра Игоревна! – выпалил он, бросаясь на колени собирать листы с такой скоростью, которая сделала бы честь олимпийскому чемпиону по неловкости. – Простите!

Уши у него были красными.

Нет, не красными. Пунцовыми. Такого оттенка, который в народе называют «закат над горизонтом», а в медицинской литературе, вероятно, описывают как «сосудистая реакция на сильный стресс».

Я остановилась. Посмотрела на него. Потом на рассыпанные по полу бумаги, которые он собирал с выражением человека, желающего немедленно провалиться сквозь паркет, а лучше – прямо в подвал, через все этажи.

– Доброе, – сказала я.

Философ подошел к одному из листов, понюхал его и отошел с видом эксперта, завершившего предварительную оценку.

Молодой человек, заметив это, покраснел еще глубже. Я даже не была уверена, что это физиологически возможно, но он справился.

– Я... – начал он, выпрямляясь с охапкой бумаг и делая при этом движение, которое едва не стоило ему второго падения, – я Николай. Коля. То есть – стажер Николай Васильевич Прохоров. – Короткая пауза. – Коля.

Он остановился. Посмотрел на меня с выражением человека, который только что сам себя запутал и очень хотел бы, чтобы кто-нибудь другой распутал.

Я кивнула с серьезностью, которая далась мне значительно большим усилием, чем хотелось бы.

За десять лет следственной работы я видела многое. Матерых рецидивистов, которые давали показания с видом скучающей аристократии. Свидетелей, которые ввали с таким вдохновением, что им хотелось аплодировать. Экспертов, способных рассуждать о состоянии трупа с аппетитом человека, идущего обедать. Все это я видела. Ко всему этому я была готова.

К тому, что моим первым коллегой на новом месте окажется стажер, который краснеет быстрее, чем успеваешь представиться, и чья папка капитулировала перед лицом обычного кота, – к этому я была готова несколько меньше.

– Прохоров, – повторила я задумчиво, потому что пауза все равно уже висела в воздухе и нуждалась в каком-то заполнении. – Давно здесь?

– Три дня, – сообщил Коля и тут же добавил с той же скоростью, с которой люди оговариваются: – То есть – со среды. Это... это тоже три дня. Рабочих. Просто я имею в виду...

– Среда, – согласилась я. – Это действительно три рабочих дня.

Он замолчал. Уши не потускнели ни на оттенок.

Философ между тем завершил осмотр коридора и сел рядом со мной, плечом к плечу – если у котов бывают плечи, – с видом напарника, давно знакомого с моими методами допроса.

Коля посмотрел на него.

– Это Ваш... кот?

– В некотором смысле, – сказала я осторожно, потому что «мой» было, пожалуй, слишком громким заявлением для существа, которое только что самостоятельно пересекло полгорода.

Философ покосился на меня. В его янтарных глазах было написано что-то между «правильно» и «не обольщайся».

– Он... часто с Вами на работу ходит? – спросил Коля с осторожностью человека, который понимает, что вопрос звучит странно, но молчать тоже неловко.

– Первый раз, – честно ответила я. – Надеюсь, последний.

Философ встал и пошел дальше по коридору.

Мы оба посмотрели ему вслед.

– Он знает, где Ваш кабинет? – тихо спросил Коля.

Я подумала секунду.

– По всей видимости.

Пауза.

– А Вы? – спросил он еще тише.

Я посмотрела на него. Он покраснел еще раз – уже, кажется, по инерции, потому что ничего особенно страшного не сказал.

– Пока нет, – пошутила я. – Пойду, спрошу у кота.

Коля секунду переваривал это предложение, потом кивнул с серьезностью человека, который три дня как стажер и уже готов ко всему, подхватил окончательно помятую папку и пошел дальше по своим делам косясь в нашу сторону.

Первый рабочий день начинался именно в том духе, в каком, по всей видимости, и должен был продолжаться.

Кабинет встретил меня запахом старой бумаги, мебели, пережившей, судя по всему, не один политический строй, и тем особенным казенным духом, который существует в каждом учреждении вне зависимости от широты и долготы. Пахло историей. Причем историей не особенно счастливой.

Я первым делом открыла форточку.

Свежий воздух ворвался внутрь с той беззастенчивостью, с какой он обычно врывается в помещения, где его давно не было, – как неожиданный гость, который слишком уверен в своем праве здесь находиться. Снаружи пахло осенью, тополями и чьей-то жареной картошкой с соседней улицы. Провинция. Каждая деталь кричала о ней с той же настойчивостью, с какой городской пейзаж кричал об отсутствии в нем чего-либо интересного.

Философ, не торопясь и с достоинством пожилого профессора, обходящего аудиторию перед лекцией, совершил круг почета по периметру кабинета. Обнюхал ножки стола. Оценил угол у батареи. Скептически осмотрел шкаф. Вынес, по всей видимости, какой-то внутренний вердикт – и с легкостью, неуместной при его комплекции и степенности, запрыгнул на подоконник. Устроился. Сложил лапы. Уставился в окно с видом восточного мудреца, постигшего наконец смысл бытия и находящего его в целом приемлемым.

Я опустила в кресло.

Кресло немедленно скрипнуло – громко, с чувством, как будто хотело обозначить свое присутствие в этой истории. Я мысленно взяла его на заметку. Новое место. Новые коллеги. Скрипящее кресло. Отличное начало.

– Ну и? – спросила я, глядя на серую спину, демонстративно обращенную ко мне.

– Я важная часть твоей жизни, – не оборачиваясь, с той ленивой интонацией, которую он приберегал для особенно очевидных истин, проговорил Философ. – Смирись.

Я тяжело вздохнула.

Это был вздох не новый. Этому вздоху было уже лет пять, ровно столько, сколько в моей жизни существовал кот, обладающий даром речи, острым умом и совершенно нулевым пониманием того, что бывают ситуации, когда удобнее было бы иметь обычного немого питомца. Например, рыбку. Рыбки не разговаривают. Рыбки не имеют мнений. Рыбки не провожают тебя на новое место работы с таким видом, будто делают тебе одолжение.

Рыбки вообще прекрасны. Я в какой-то момент серьезно подумывала о рыбке.

Но у меня был Философ, и это, по всей видимости, было судьбой – в том смысле, в каком судьба обычно не спрашивает твоего мнения, а просто однажды подкидывает тебе котенка, который однажды посмотрит на тебя и скажет: «Яйца пережарены».

Вот именно – говорит. Человеческим голосом. Спокойно. Как будто, так и надо.

Я так и не выяснила, откуда он взялся, как это работает и почему именно я. На второй год я перестала задавать эти вопросы вслух. Философ на них все равно не отвечал, только шурился с видом существа, которому вопрос кажется недостаточно глубоким, чтобы тратить на него слова.

Итак. Новый город, новый кабинет, новое дело. И кот на подоконнике, который является важной частью моей жизни.

Смирюсь.

Я раскрыла папки, которые Северов передал мне накануне, и погрузилась в изучение.

Дела оказались именно такими, какими и должны были быть дела маленького провинциального городка, затерянного где-то между холмами и собственной дремотой: мелкое мошенничество, кража велосипеда у гражданина Тополева, соседский конфликт по поводу забора, выросшего на двадцать сантиметров не там, где положено. Это был, что называется, местный фольклор – то, из чего состоит жизнь большинства провинциальных отделений и что следователи по особо тяжким преступлениям в норме не трогают, поскольку особой тяжести здесь отродясь не было.

Или не было до недавнего времени.

Я как раз обдумывала эту мысль, когда дверь открылась и в кабинет вошел Северов.

Марк Андреевич Северов, начальник местного управления, был человеком, которому природа выдала внешность одновременно солидную и немного несправедливую: высокий, широкоплечий, с той уверенной осанкой, которая либо от военного прошлого, либо от привычки всегда знать, где находится дверь. Лет сорока, не больше. Взгляд внимательный, – взгляд человека, который привык замечать то, что другие предпочитают не замечать, и вежливо молчать об этом до нужного момента.

Именно таким взглядом он сейчас смотрел на моего кота.

– Доброе утро, Александра Игоревна, – сказал он ровно. – Как устроились?

– Марк Андреевич, – кивнула я. – Спасибо, хорошо.

Философ на подоконнике даже ухом не повел. Сидел. Смотрел в окно. Воплощенное равнодушие и полное отсутствие интереса к человеческим делам – и, разумеется, полное молчание, поскольку при посторонних он превращался в самого обыкновенного кота, каких в городе таком и не перечесть.

Это было, пожалуй, единственное его качество, за которое я была искренне и горячо ему благодарна.

Северов перевел взгляд с кота на меня. В его глазах читался вопрос – тот самый, деликатный, который воспитанные люди не задают в первый рабочий день новому сотруднику, но который тем не менее существует и требует когда-нибудь ответа: что это вообще такое и надолго ли оно здесь.

– Это Ваш кот? – спросил он, все-таки не удержавшись, но тоном абсолютно нейтральным, тоном человека, который уточняет исключительно для полноты картины.

– В некотором роде, – сказала я.

Философ покосился на меня через плечо. Одним глазом. Янтарным. С выражением, которое у человека называлось бы «в некотором роде», – и это было явно не комплиментом.

– Понятно, – сказал Северов, давая понять, что ничего ему не понятно, но он профессионал и умеет с этим жить.

Первый рабочий день набирал обороты.

– Я хотела уточнить, во сколько планерка? – спросила я.

Северов посмотрел на меня с выражением человека, которому задали вопрос настолько неожиданный, что он вынужден был секунду подумать, прежде чем ответить. Или, возможно, он просто взвешивал, как именно сформулировать то, что собирался сказать дальше, потому что сказал он вот что:

– Это тоже хотел с Вами обговорить. У нас на все управление один следователь. И это Вы. Я выдержала паузу.

– ППС в количестве восьми человек, – продолжил он, – и один стажер, куда пошлют туда и идет. Ну и в принципе, список остальных сотрудников Вы видели. Он не такой и большой.

Я выдержала еще одну паузу. Более вдумчивую.

В моей предыдущей жизни, то есть до того, как меня занесло в Вереск, – у меня под рукой было следственное управление на двадцать три человека, аналитический отдел, криминалистическая лаборатория и один совершенно невыносимый, но гениальный эксперт Воронцов, который пил только чай с молоком и умел читать место преступления как хорошую книгу. Двадцать три человека. Лаборатория. Воронцов с его чаем.

Один следователь. Восемь патрульных. Один стажер, функция которого сводилась к «куда пошлют».

Я медленно моргнула.

– Город маленький, – ответил Северов на мой немой вопрос, и в его голосе не было ни капли извинения, только методичное перечисление фактов бытия. – И тихий. Ваш предше-

ственник вышел на пенсию. Работал здесь двадцать лет, все знал, всех знал. Поэтому жду от Вас доклада по мере закрытия дел. Постарайтесь не затягивать с этим.

Вот тут, признаться, у меня дернулся глаз. Совсем чуть-чуть. Почти незаметно. «Постарайтесь не затягивать» – это мне говорил человек, который, судя по папкам на столе, позволил административной текучке скопиться с прошлого квартала. Но я была воспитанным человеком и следователем с десятилетним стажем, а потому сказала только:

– Я профессионал, Марк Андреевич.

Северов посмотрел на меня. Долго. Тем взглядом, который у мужчин определенного склада характера означает примерно следующее: я это учту, но личного мнения пока не изменю, дайте срок. Хорошо хоть вслух не сказал. И на том спасибо, дорогой провинциальный начальник.

– Идем дальше, – произнес он, переключившись с меня на папку, которую, судя по всему, держал в руках с самого начала, просто я не сразу это заметила. – Дело о мошенничестве я вчера закрыл, поэтому рекомендую Вам заняться велосипедом. – Он чуть помедлил. – С забором все сложно.

Он хмыкнул.

Я посмотрела на него. Потом вспомнила про дело с забором, которое нашла в стопке, и мысленно согласилась: да, с забором все действительно сложно. Там были претензии от четырех соседей, два встречных заявления, один акт о потраве огорода и показания козы, то есть, конечно, не ее показания, но ее присутствие в деле было задокументировано столь подробно, что создавалось именно такое ощущение. Сложно – это было еще мягко сказано.

В этот момент Философ счел, что достаточно посидел на подоконнике и вообще пора размяться.

Он спрыгнул. Лениво, с достоинством, с той грацией, которая бывает только у котов и у людей, абсолютно уверенных в собственной значимости. Потянулся – передними лапами вперед, задом вверх, с таким видом, будто демонстрировал йогу для начинающих. И зевнул. Беззвучно, но с выражением.

Северов проследил за ним взглядом.

– Кот в управлении, – произнес он, – не самая удачная идея. – Пауза. – Или Вы с ним не разлучны?

– Разлучны, – сказала я быстро. – Очень разлучны. Исключительно разлучны. Он сегодня просто... оказался рядом. В силу обстоятельств. Это больше не повторится.

Я говорила убедительно. У меня вообще хорошо получается говорить убедительно – все-таки столько лет допросов, это не шутки. Северов, кажется, даже поверил, потому что кивнул и произнес:

– Надеюсь, я его больше здесь не увижу.

И вот в этот самый момент – именно в этот, с хронометрической точностью, как будто специально ждал реплики – Философ неторопливо пересек кабинет, подошел к Северову и потерял об его ноги. Обстоятельно. С чувством. Оставив на безупречно выглаженных брюках начальника управления приличное количество серой шерсти.

Мы оба уставились на кота.

Одинаково удивленными взглядами.

Философ поднял голову и посмотрел на нас по очереди – сначала на Северова, потом на меня – с видом существа, которое сделало доброе дело и теперь ждет заслуженной благодарности.

Предатель, – подумала я.

Я знаю, – было написано у него на морде.

Северов кашлянул. Потом посмотрел на кота. Потом на меня. Потом снова на кота, уже с выражением человека, который принял решение сделать вид, что ничего не произошло, потому что некоторые явления природы проще игнорировать, чем объяснять.

– Хм, – сказал он, собравшись с мыслями с поистине железной выдержкой. – Также хотел, чтобы Вы взяли на себя текучку: отчеты, сводки и прочая административная работа. Скопилась с прошлого квартала.

– Конечно, – сказала я голосом абсолютного профессионализма.

Философ сел у ног Северова и принялся умываться.

– И все-таки Вам стоит, – произнес Северов, снова сделав паузу в том месте, где ее, по всем законам языка, не предполагалось, – куда-нибудь деть кота отсюда. Управление не место для животных и детей.

И посмотрел на меня.

Вот этот взгляд я хочу описать отдельно, потому что он заслуживает отдельного описания. Это был взгляд человека, который за свою карьеру видел многое. Который, по всей видимости, умел одним взором остановить матерого рецидивиста на полуслове, заставить понятого расписаться там, где надо, и вернуть на место зарвавшегося участкового. Взгляд тяжелый, профессиональный, отточенный годами практики.

И вот этим взглядом он смотрел на меня так, будто уже видел завтрашнее утро. Видел, как я вхожу в управление – снова. С Философом под мышкой. С собакой на поводке. С выводком детей, количество которых в его воображении, судя по выражению лица, стремительно приближалось к пяти. Может, с козой. Может, с попугаем. Может, вообще с передвижным зоопарком и школьной экскурсией в нагрузку.

Я хотела сказать что-нибудь достойное. Что-нибудь весомое. Мой опыт работы должен был подготовить меня к любому допросу, к любому давлению, к любому взгляду – даже к такому, которым начальник управления смотрит на подчиненную, заподозрив в ней потенциальный источник хаоса в радиусе трех кварталов.

Я открыла рот.

Закрыла.

Открыла снова.

– Разумеется, – сказала я наконец.

Северов кивнул с видом человека, которого этот ответ устроил ровно настолько, насколько вообще что-либо способно его устроить, то есть не вполне, но достаточно, чтобы двигаться дальше. Взял со стола папку. Положил передо мной – аккуратно, с той методичностью, которая говорила: вот документы, вот Ваши обязанности, вот Ваша жизнь на ближайшие несколько лет, ознакомьтесь и распишитесь.

А потом – и вот тут я, признаться, едва удержала лицо – встал и развернулся, чтобы уйти. И обнаружил, что между ним и дверью сидит кот.

Философ устроился ровно посередине пути с той безмятежностью, которая бывает только у существ, абсолютно уверенных в своем праве занимать любое пространство по собственному усмотрению. Сидел, умывался, делал вид, что мировая политика и передвижения начальства – это не его забота, у него вот лапа требует внимания.

Северов остановился.

Посмотрел на кота.

Кот не пошевелился.

Пауза длилась секунды три. Три очень выразительные секунды, в течение которых начальник управления Вереска, человек, по всей видимости привыкший, что его дорогу не перекрывают, принимал внутреннее решение. И решение это, судя по результату, звучало примерно, как: не буду. Просто не буду.

Он обошел Философа по дуге.

Широкой, обстоятельной дугой. Такой, что задел краем плеча дверной косяк, на что никак не отреагировал, с профессиональным достоинством человека, который не задевал никакого косяка и вообще понятия не имеет, о чем это вы.

Дверь закрылась.

Я уставилась на папку.

Папка смотрела на меня в ответ – молча, но с отчетливым намеком, что внутри нее административная работа с прошлого квартала, и она никуда не торопится.

Философ перестал умываться. Неторопливо повернул голову. Посмотрел на дверь, за которой скрылся Северов. Потом посмотрел на меня.

– Приятный мужчина, – сообщил он с интонацией абсолютной искренности. – Сдержанный.

– Молчи, – сказала я.

– Я просто говорю.

– Я знаю, что ты говоришь. Именно поэтому я прошу тебя этого не делать.

Философ зевнул – уже не беззвучно, а с удовольствием, во весь рот, с полным осознанием того, что клыки у него вполне внушительные. Потом встал, потянулся и с достоинством проследовал к окну – очевидно, возвращаться на насиженное место и продолжать наблюдение за улицей. Миссия по оставлению серой шерсти на брюках начальника была выполнена, цели достигнуты, можно отдыхать.

Я открыла папку.

Внутри обнаружилось такое количество бумаг, что я почти физически услышала, как прошлый квартал злорадно на меня ухмыляется.

– Фил, – сказала я.

– М? – донеслось с подоконника.

– Это первое утро.

– Я знаю.

Папка смотрела на меня будто давно ждала и успела разочароваться в жизни. Я ответила ей взаимным пониманием и открыла.

Сверху лежало дело о краже велосипеда.

Я взяла его в руки. Поднесла к свету – на всякий случай, вдруг там что-то написано мелко. Перевернула. Изучила с обратной стороны.

Нет. Все правильно. Это было заявление о краже велосипеда, и больше в деле не было ровным счетом ничего. Никаких протоколов. Никакого опроса свидетелей. Никакого осмотра места происшествия. Просто заявление – листочек бумаги, добросовестно сообщающий, что некий гражданин Тополев В.Н. вышел утром во двор, а велосипеда там не обнаружил. Тополев В.Н. по этому поводу огорчился и просит принять меры.

Я положила дело обратно в папку.

Потом вынула снова.

Нет, все верно. Там все еще было только заявление.

Тихо и спокойно, сказали мне. Почти ничего не происходит, пообещали мне. Что ж. Как минимум, украденный велосипед подтверждал вторую часть этого утверждения с хирургической точностью, здесь действительно не происходило почти ничего. В том числе, судя по папке, не происходило и расследование кражи велосипеда, хотя заявление было датировано прошлым вторником и успело отлежаться с таким видом, будто планировало там состариться.

Я вздохнула и огляделась по сторонам с надеждой найти ручку.

Надежда не оправдалась.

На столе не было ручки. На столе не было бумаги. На столе не было вообще ничего, что могло бы намекнуть на принадлежность этого помещения к правоохранительной системе, –

только телефонный аппарат с треснувшим диском и папки с документами, уже ставшие мне почти родными.

Я подумала о том, что в прежнем отделе у меня было три ручки: одна рабочая, одна резервная и одна, которую я нашла под батареей в девятнадцатом году и берегла как талисман. Еще у меня было два блокнота, дырокол, который я привезла из дома, потому что казенный жевал бумагу, и фикус Аристарх, которому было восемь лет и которого я оставила Демченко, потому что везти его через пол страны на поезде казалось негуманным по отношению к фикусу.

То есть в сухом остатке у меня теперь был кот, велосипед и телефон с треснувшим диском.

Я занесла в мысленный список первым пунктом: канцелярия. Вторым пунктом занесла тоже канцелярию, потому что первый раз показался недостаточно выразительным. Потом достала из сумки собственный блокнот и собственную ручку – хорошую, с мягким нажимом, подарок на прошлый день рождения от коллег, которые, очевидно, знали, что дарить следователю, и раскрыла на первой пустой странице.

В дверь деликатно постучались.

Настолько деликатно, что я на секунду засомневалась – постучались вообще, или мне показалось.

– Войдите, – сказала я.

Дверь приоткрылась с осторожностью, которую я обычно наблюдала у людей, входящих в кабинет главного. Не потому, что бояться, а потому что так принято и на всякий случай. В образовавшуюся щель просочился Петрович – просочился именно так, как я написала, потому что иначе процесс его появления описать сложно: он не вошел, не зашел и даже не заглянул, он именно просочился, как вода под дверь, тихо и неизбежно.

В руках у него были две плоски.

Я перевела взгляд на них. Потом на Петровича. Потом снова на плоски.

На одном, судя по запаху, было молоко. На другом что-то, имеющее отношение к рыбе.

– Мы с мужиками тут подумали, – произнес Петрович с выражением человека, который сообщает нечто совершенно очевидное, – что кот, наверное, голодный.

Он кивнул на плоски.

– И вот.

Я посмотрела на Философа.

Философ сидел на подоконнике и смотрел на Петровича с выражением, которое я научилась читать безошибочно: это было выражение существа, которое знает себе цену и в данный момент великодушно позволяло ей быть озвученной в формате молока и рыбы.

– Это очень... внимательно, – сказала я.

– Да мы что, – Петрович пожал плечами с видом человека, которого незаслуженно благодарят за что-то само собой разумеющееся. – Он же животное все-таки. Живое.

Он обвел взглядом кабинет в поисках подходящего места, нашел угол у батареи и туда направился – осторожно, как будто нес что-то хрупкое. Поставил обе на пол. Выпрямился. Посмотрел на кота.

Философ смотрел на него с подоконника.

Пауза.

– Ну, – сказал Петрович коту с интонацией мягкого приглашения. – Иди.

Философ моргнул. Медленно. С достоинством.

Потом, явно не торопясь показать, что ему хочется, сполз с подоконника – именно сполз, тягуче и плавно, как жидкий серый мед – и проследовал к мискам. Обнюхал молоко. Обнюхал рыбу. Принял внутреннее решение и склонился над рыбой с видом существа, который снизошел.

Петрович смотрел на него с видом человека, у которого все получилось. Я смотрела на них двоих.

– Михаил Петрович, – сказала я.

– А?

– А меня мужики с чаем встретить не предложили, случайно.

Петрович посмотрел на меня. Потом на кота. Потом снова на меня. В его взгляде при этом читалась очень честная и очень непосредственная иерархия приоритетов, которую он, к счастью, вслух не озвучил.

– Так чайник только один, – сообщил он после паузы.

– Понятно, – сказала я.

– Но я могу занести кружку. – Он почесал голову. – И кипятыльник.

– Будьте так великодушны.

Петрович кивнул – серьезно, как на инструктаже, и направился к двери. У порога притормозил, обернулся и посмотрел на кота с нескрываемым удовлетворением. Философ ел рыбу и не обращал на это никакого внимания.

Дверь закрылась.

Я открыла блокнот.

Посмотрела на первую пустую страницу.

Написала сверху: Дело о велосипеде.

Потом дописала снизу: Чайник – один.

Философ поднял голову от миски. Посмотрел на меня. В его взгляде было что-то неуловимо снисходительное, что-то в духе добро пожаловать в Вереск, вот теперь ты здесь живешь.

– Молчи, – сказала я.

– Рыба свежая, – сообщил он задумчиво. – Уважаю людей с правильными приоритетами.

Я задумчиво постучала ручкой по блокноту. В блокноте пока было написано ровно два факта: название дела и философское наблюдение про чайник. Негусто для первого утра на новом месте. С другой стороны, я здесь меньше часа, кот уже поел, а значит, прогресс налицо.

Философ отвалился от еды с видом существа, завершившего важную государственную миссию, и воззрился на меня с подоконника – снова. Я на секунду поймала себя на мысли, что он занял этот подоконник как стратегическую высоту и уступать ее не намерен. Возможно, это был его подоконник еще до меня. Возможно, он считал, что это его кабинет, а я временный и слегка шумный квартирант.

– Есть шанс, – спросила я, – что, сытно поев, ты завалишься спать? Или продолжишь позорить меня и дальше?

Вопрос был риторический в той мере, в которой вопросы, заданные котам, вообще могут быть риторическими. То есть, никакой.

Философ подумал. Не торопясь, со вкусом, с той основательностью, с которой, судя по всему, он подходил ко всему в своей жизни. Потом важно кивнул.

– Шанс есть, – подтвердил он.

– Отлично, – сказала я с облегчением, которое сама от себя не ожидала. – Тогда я к потерпевшему, а ты здесь за главного.

Последнее я добавила из чисто педагогических соображений, чтобы придать процессу укладывания спать хоть какую-то видимость должностной ответственности. Судя по тому, как Философ выпрямился на подоконнике и принял выражение лица, исполняющего обязанности – прием сработал. Или он просто потянулся. С котами никогда не знаешь.

Я захлопнула блокнот, убрала ручку за ухо – старая привычка, институтская еще, от которой так и не избавилась – и вышла в коридор.

В дежурке было светло, пахло казенным и немного табаком, и Петрович встретил меня с видом человека, у которого получилось. Именно с таким видом – сияющим, почти торжественным, – с каким люди выходят из магазина, найдя последнюю банку консервов нужного сорта.

– Александра Игоревна! – воскликнул он радостно, и в этом восклицании было столько искреннего энтузиазма, что я на долю секунды почти устыдилась, что пришла сюда с какой-то прозаической целью. – Я нашел для Вас кружку! И кипяtilьник!

Последнее слово он произнес с интонацией победителя, и я проследила за его взглядом на стол.

На столе стояла металлическая кружка, из тех, что, судя по виду, пережила несколько правительств и как минимум один переезд. Рядом с ней лежал кипяtilьник. Старый кипяtilьник. Очень старый. Ржавчину с него, судя по всему, оттерли, и оттерли с явным старанием, но ржавчина была из тех ржавчин, которые не сдаются просто так. Она осталась в отдельных стратегических местах с таким видом, словно говорила: я здесь была и буду, просто теперь я эстетична.

Я смотрела на этот натюрморт примерно секунды три.

За десять лет следственной работы я видела многое. Тела в самых разных состояниях. Свидетелей, которые клялись, что ничего не помнят, и при этом помнили совершенно все – просто в выгодной для себя очередности. Начальников, которые объясняли мне, почему моя версия неверна, голосом людей, убежденных в собственной непогрешимости. Я пережила командировки, в которых гостиница оказывалась комнатой при опорном пункте, а ужин – сухим пайком с истекшим сроком.

Но кипяtilьник, который смеялся ржавчиной – это было что-то новое.

– Благодарю Вас, Михаил Петрович, – сказала я с той интонацией, которую за годы практики отточила до состояния тонкого инструмента – достаточно теплой, чтобы не обидеть, и достаточно ровной, чтобы не солгать. – Оставьте пока себе.

Петрович посмотрел на кипяtilьник. Потом на меня. В его взгляде промелькнуло что-то, похожее на понимание, но тут же тактично ушло.

– Хорошо, – согласился он.

– Лучше подскажите, – продолжила я, открывая блокнот на странице с делом о велосипеде, – где мне найти Тополева В.Н.? Потерпевший. У него угнали велосипед.

Петрович нахмурился с видом человека, который все помнит, просто расставляет по местам.

За окном дежурки утро уже окончательно решило быть утром – серое, рабочее, без лишних претензий. Где-то в моем новом кабинете Философ, по всей видимости, уже принял должность и приступил к исполнению обязанностей. То есть – спал.

Петрович сообщил адрес Тополева без лишних церемоний, то есть сначала долго вспоминал, потом сверился с журналом, потом уточнил у кого-то по телефону, потом снова сверился с журналом, и наконец выдал мне бумажку, написанную почерком человека, который явно учился каллиграфии, но где-то в середине курса решил, что хватит. Я разобрала адрес с третьей попытки. Профессиональный навык.

Тополев трудился на другом конце города. Ветеринаром. На ферме.

Другой конец города обнаружился примерно через двадцать минут пешего хода – Вереск был именно таким местом, где «другой конец» и «весь город насквозь» означали примерно одно и то же. Ферма же обнаружилась чуть дальше, за последними домами, и при первом взгляде на нее у меня возникло ощущение, что я попала в иллюстрацию к книжке, которую в детстве читала, но смутно помню.

Я выросла в городе. Большом городе. Потом еще больший город, академия, работа – все сугубо городское, асфальтовое, с запахом выхлопных газов и казенных коридоров. Ферму я

видела впервые в жизни. Не в кино, не на картинке, а вот так, вживую, с запахом, со звуком и со всем тем, о чем в книжках деликатно умалчивают.

Никто меня, к счастью, не видел, когда я остановилась у ворот и просто смотрела секунд десять. Следователи по особо тяжким не останавливаются столбом у ворот фермы. Но я остановилась.

Потом взяла себя в руки и зашла.

Тополев был где-то на ферме. Мне это сообщили с видом людей, для которых «где-то на ферме» является вполне исчерпывающей географической информацией. Я не стала уточнять – судя по размерам хозяйства и интенсивности звуков, доносившихся из нескольких направлений одновременно, уточнение все равно бы не помогло. Его обещали найти. Меня проводили в кабинет.

Кабинет был небольшим. Это мягко сказано. Он был таким, что, если бы я решила вернуться на месте, пришлось бы делать это поэтапно, с предварительным планированием. Стол, два стула, шкаф с какими-то папками, и на стене – схема коровьего желудка. Подробная. С подписями. Я поздоровалась со схемой взглядом и присела на стул.

Подождала.

За стеной что-то мычало – методично, без особого раздражения, просто как фоновое явление природы. Я открыла блокнот, перечитала заявление, закрыла блокнот. Перечитала еще раз мысленно. Велосипед. Пропал. Жалко. Да.

Четыре года я занималась делами, где каждое утро начиналось с оперативки и заканчивалось сводкой, которую страшно было читать без кофе. Сейчас я сидела в кабинете ветеринара, слушала корову за стеной и ждала потерпевшего по делу о пропавшем велосипеде.

Жизнь – удивительная штука.

Дверь открылась, и на пороге показался коренастый мужичок лет сорока пяти, в рабочей куртке, с видом человека, которого оторвали от дела в самый неподходящий момент, но который, в принципе, не в обиде. Руки он вытер о тряпку, висевшую на поясе, и посмотрел на меня с нормальным человеческим любопытством – не настороженным, не испуганным, а именно любопытным: мол, кто такая, зачем пожаловала.

– Мне сказали, Вы меня искали? – произнес он. – Вы новый следователь?

Я усмехнулась.

– Быстро у вас новости разносятся. Александра Игоревна, – представилась я, привставая.

– Валентин Николаевич, – ответил он, пожал мне руку основательно, по-рабочему, и пояснил с легкой улыбкой: – Так город маленький. Каждый новый житель на виду.

Я кивнула. Это я уже начинала понимать. Вереск был именно таким местом, где о тебе узнают раньше, чем ты успеваешь познакомиться хоть с кем-нибудь лично. Занятное свойство малых городов – информация тут распространялась быстрее, чем в столичных редакциях, и без всяких телефонных звонков.

– Валентин Николаевич, – сказала я, открывая блокнот и стараясь придать своему голосу интонацию человека, который занимается важным и серьезным делом, – я по поводу Вашего велосипеда. Который пропал во дворе дома.

Валентин Николаевич кивнул – серьезно, без иронии. Сел напротив, сложил руки на столе. Человек, явно привыкший к разговорам по делу.

– Да, – подтвердил он. – Пропал.

– Расскажите подробнее. Когда обнаружили пропажу?

– В четверг утром. Вышел – нет. Стоял у крыльца, я его всегда там оставляю. Замка не было – ну, в смысле, замок-то был на велосипеде, да только толку от него немного оказалось.

– Какой замок?

– Тросовый. Простенький. – Он помолчал, потом добавил с философским спокойствием человека, успевшего примириться с произошедшим: – Понимаю, что сам виноват. Но двадцать лет стоял, и ничего.

Я записала. Двадцать лет. Велосипед, судя по всему, был ровесником каких-то важных событий в жизни Валентина Николаевича – Бреттэкзит, например, или распад группы. Хотя нет, двадцать лет назад было другое.

– Марка, цвет, особые приметы?

– «Рифей», – сказал он с той теплотой, с которой говорят не о велосипеде, а о старом друге. – Синий. Был синий – потом перекрашивал сам, так что теперь скорее сине-серый. Багажник сзади, звонок я снял еще лет десять назад, потому что раздражал. На раме вмятина – это в девятом году, когда корова Зинаиды Петровны... – Он остановился. – Это длинная история.

– Запишу как «характерная вмятина на раме», – сказала я.

– Справедливо, – согласился он.

За стеной корова мыкнула, будто одобрила формулировку.

Я перевернула страницу.

– Кто, по-Вашему, мог взять велосипед? Есть предположения?

Валентин Николаевич почесал затылок. Не потому, что не знал – чувствовалось, что предположения у него имелись, и, возможно, даже конкретные, – а потому что, видимо, тщательно взвешивал, насколько уместно их озвучивать незнакомому следователю, который в городе без году неделя.

– Есть одна мысль, – произнес он наконец осторожно. – Но это так, догадка.

– Догадки – это то, с чего все начинается, – сказала я.

Он посмотрел на меня. Оценивающе, но без враждебности.

– Семен, – сказал он.

– Фамилия?

– Лопатин. Семен Лопатин. Он живет через два дома. – Пауза. – Мы с ним немного повздорили в прошлом месяце. Из-за дачного забора.

Велосипед. Сосед. Забор. Корова за стеной. Я сидела в кабинете с подробной схемой коровьего желудка на стене и записывала показания о споре из-за забора, который, судя по всему, закономерно привел к исчезновению велосипеда «Рифей» сине-серого цвета с характерной вмятиной на раме.

Жизнь – удивительная штука. Я это уже говорила, кажется. Но она продолжала подтверждать тезис.

– Расскажите про забор, – вздохнула я.

История про забор оказалась, как водится, историей совсем не про забор.

Валентин Николаевич набрал воздуха, выпрямился на стуле с видом человека, которому наконец дали слово на собрании после двух часов ожидания, и произнес:

– Летом у нас был городской конкурс на лучший самодельный квас.

Я приготовилась записывать. Квас. Городской конкурс. Я напонила себе, что еще несколько лет назад вела дело о тройном убийстве в портовом районе и научилась не торопиться с выводами о том, куда ведет история. Иногда самые невинные детали оказываются ключевыми. Иногда квас – это просто квас. Здесь, в Вереске, я еще не понимала, как бывает.

– Я выиграл, – сообщил Валентин Николаевич. Без хвастовства. Просто констатация факта, за которой, впрочем, угадывалось тихое и многолетнее удовлетворение, то самое, которое человек холит в душе, как редкий цветок. – Первое место. Диплом есть, могу показать.

– Не нужно пока, – сказала я.

– А Семен считает, что я готовил по его рецепту.

Вот оно. Я почувствовала, как пазл – маленький, абсурдный, деревенский пазл – начинает складываться. Велосипед. Сосед. Забор. Квас. Все это было звеньями одной цепи, и цепь эта, судя по всему, тянулась откуда-то из глубин человеческой природы, из того же места, откуда берутся войны, революции и коммунальные склоки за место на кухонной полке.

– По его рецепту? – переспросила я на всякий случай.

– По его рецепту, – подтвердил Валентин Николаевич. – Он так считает. Я так не считаю. У меня свой рецепт, мне его еще теща передала, царствие ей небесное. Хороший рецепт. Квас выходил – загляденье.

– А у Семена какой был квас?

– Кислый, – сказал Валентин Николаевич коротко. Это слово прозвучало как приговор – окончательный, не подлежащий обжалованию.

За стеной корова снова издала тягучий протяжный звук, будто и она имела мнение по вопросу кваса и не собиралась его скрывать. Я покосилась на схему желудочно-кишечного тракта жвачных, украшавшую стену ветеринарного кабинета, временно исполнявшего роль моего рабочего места, и мысленно попрощалась с последними иллюзиями о том, каким должно быть утро опытного следователя.

– Слово за слово, – продолжил Тополев, – зацепились. Сначала из-за кваса, потом Семен вспомнил про забор – он, видите ли, считает, что я поставил его на пять сантиметров левее, чем следует. Я говорю: по плану. Он говорит: план неправильный. Я говорю: план официальный. Он говорит: официальный, да неправильный. – Пауза. – Ну и пошло.

– Пошло, – эхом повторила я.

Пять сантиметров забора. Рецепт кваса. Городской конкурс. Поруганная честь Лопатина. Пропавший велосипед «Рифей» сине-серого цвета с характерной вмятиной на раме. Я смотрела на то, что накарябала в блокноте, и думала о том, что жизнь, вообще-то, устроена с изощренным чувством юмора. Четыре года в отделе по особо тяжким. Десять лет в профессии. И вот я, Александра Игоревна, сижу в кабинете с коровой за стеной и расследую нарушение велосипедного суверенитета, мотивом которого предположительно служит оскорбленная кулинарная гордость.

– Понятно, – вздохнула я.

Это было первое искреннее слово за весь разговор. Мне действительно было понятно. Лучше бы не было, но было.

– Где можно найти Семена Лопатина в это время?

Тополев чуть пожал плечом – жест человека, который за долгие годы жизни через два дома от соседа изучил его расписание лучше, чем собственное.

– Скорее всего дома. Он сантехником работает, по сменам. Сегодня вроде у него выходной.

Выходной. Идеальное время для того, чтобы сидеть дома, пить, по всей видимости, свой кислый квас и размышлять о несправедливости мироздания, которое присудило первое место не тому рецепту. А может, уже и не думать – велосипед-то угнан, душа отмщена, можно и просто отдыхать.

Я закрыла блокнот. Посмотрела на Тополева. Он смотрел на меня, с той смесью надежды и заранее приготовленного смирения, с которой люди обращаются к государственным структурам: не очень веришь, что поможет, но попробовать надо.

– Велосипед жалко, – сказал он тихо. – Двадцать лет все-таки.

– Найдем, – сказала я.

Это тоже было искренне. Пусть и по другим причинам. Потому что если я не найду велосипед в городе, где все знают всех и где главным мотивом преступления служит квасной рецепт, – то мне, пожалуй, стоит всерьез пересмотреть свою профессиональную биографию.

Корова за стеной замолчала. Наступила та особая деревенская тишина, в которой слышно все, и скрип половицы, и далекий собачий лай, и то, как размеренно тикают ходики на стене рядом с анатомическим плакатом. Я встала, одернула пиджак и подумала, что Семен Лопатин, сантехник на выходном, скорее всего, уже и не ждет, что к нему придут.

Значит, будет сюрприз.

Попрощавшись с Тополевым – человеком, для которого пять сантиметров забора и рецепт кваса переросли в уголовное дело, – я вышла на улицу и некоторое время просто постояла у крыльца, глядя в небо. Небо было безмятежным. Ему не нужно было идти допрашивать сантехника по поводу велосипеда.

Я ему немного завидовала.

Тем не менее работа есть работа. Даже если эта работа заключается в том, чтобы распутать клубок, в котором квасная гордость, дачный суверенитет и многолетняя дружба сплелись в нечто, достойное, пожалуй, отдельной главы в учебнике криминальной психологии – в раздел «Мотивы, которые следователь придумать не способен».

Прежде чем идти к Лопатину, я решила завернуть во двор дома Тополева. Осмотреть, так сказать, место преступления. В протоколе это называется «осмотр прилегающей территории», в жизни – «посмотреть, откуда увели велосипед, и попробовать не выглядеть при этом совсем уж растерянной».

Двор был самый обыкновенный. Три тополя – что характерно, без всякой связи с потерпевшим, – пыльный асфальт, облезлые гаражи вдоль забора, несколько кустов неопределенной породы, выживших, судя по всему, исключительно из упрямства. Велосипедный замок, судя по описанию Тополева, висел вон на той трубе у второго подъезда. Замок старый, простой, из тех, что открываются при должном навыке и крепкой отвертке минуты за три. Никаких следов взлома я, разумеется, не обнаружила, потому что либо следов не было, либо они давно затоптаны жильцами, детьми и парочкой котов, которые сейчас наблюдали за мной с гаражной крыши с видом присяжных, уже вынесших приговор.

Зато у первого подъезда, в тени тополей, на скамеечке сидели бабушки.

Две.

Я сразу поняла, что это бесценный источник информации. Потому что бабушки на скамейке у подъезда – это не просто пенсионерки. Это живая система наблюдения с функцией долгосрочного хранения данных, встроенным анализом и звуковым оповещением всего двора в режиме реального времени. В городе с населением в несколько тысяч человек такая система стоит дороже любой картотеки.

Я подошла.

Бабушки посмотрели на меня с тем профессиональным интересом, с каким смотрят на чужую, то есть на любого человека моложе шестидесяти, которого они не знают по имени-отчеству и истории семьи как минимум в трех поколениях.

– Добрый день, – сказала я.

– Добрый, – отозвались обе. Синхронно. Как будто репетировали.

Та, что была покрупнее, в цветастом халате и с пучком такой плотности, что его, пожалуй, можно было использовать как средство самообороны, смотрела на меня с откровенным любопытством. Та, что помельче, в темном платке и с вязанием на коленях, – с несколько большей осторожностью. Хваткая, определила я. Эта не скажет лишнего, пока не поймет, зачем мне надо.

– Корвина Александра Игоревна, следователь, – я показала удостоверение. – Хочу задать вам несколько вопросов о Тополеве Валентине Николаевиче из второго подъезда.

Та, что в халате, немедленно оживилась до степени, которую в медицине, наверное, назвали бы резкой сменой клинической картины.

– А что с ним? – спросила она с таким интересом, что я, признаться, на долю секунды пожалела, что новостей у меня нет. – Что-то случилось?

– У него пропал велосипед, – сказала я.

Пауза.

– «Рифей»? – уточнила та, что с вязанием, не поднимая глаз.

Я остановилась.

– Синий, с вмятиной? – добавила та, что в халате, уже немного разочарованно. Видимо, велосипед в качестве новости ее не впечатлил.

– Да, – сказала я осторожно. – Откуда вы знаете?

Они переглянулись. Этот обмен взглядами длился примерно полсекунды и содержал, я уверена, целый разговор, недоступный посторонним.

– Так мы видели, – сказала та, что в халате. – В среду, часов в девять вечера. Семен увел. Я достала блокнот.

– Семен Лопатин? Вы видели, как он брал велосипед?

– Ну, – та, что в халате, немного поджала губы, – «брал» – это громко сказано. Он подошел, повозился немного с замком, у него там проволочка какая-то была, я еще подумала, странно, – и укатил.

– А Вы не окликнули его?

Она посмотрела на меня с мягким недоумением человека, которому задали вопрос, не предполагающий разумного ответа.

– Так Семен же. Они с Валькой дружки. Я думала, договорились.

– Дружки, – тихо повторила та, что с вязанием, с интонацией, в которой читалось что-то вроде «это, конечно, громко сказано».

– Были дружки, – поправила себя та, что в халате, и с видимым удовольствием уточнила: – До кваса.

Я остановила ручку.

– До кваса?

– Ну, конкурс же был. Городской. – Она произнесла это так, как произносят что-то само собой разумеющееся, что знает каждый нормальный человек. – Тополев подал рецепт. И Семен подал. А Тополев взял первое место, а Семен – ничего. И Семен говорит, что Тополев рецепт у него украл еще в том году, когда они вместе квас ставили, помнишь, Аркадьевна, в июле?

Та, что с вязанием, – Аркадьевна, стало быть, – приподняла взгляд.

– Помню, – сказала она сухо. – Квас у Тополева вышел кислый.

– Вот! – обрадовалась та, что в халате. – Семен то же самое говорит. Что если б он свой рецепт не подсказал, Тополев бы вообще квас не поставил. А Тополев говорит, что рецепт его собственный, тещин, и Семен ничего не подсказывал, а только попробовал и сказал, что надо больше изюма.

– Изюма? – я записала.

– Изюма, – подтвердила та, что в халате. – А потом еще забор.

– Это я в курсе, – сказала я.

– Ну и вот, – она развела руками с видом человека, который суммировал мировую историю. – Теперь вот так.

Я посмотрела на свои записи. «Изюм. Проволочка на замке. Среда, девять вечера».

– Скажите, – произнесла я, – а где сейчас велосипед, вы не знаете?

Аркадьевна отложила вязание. Посмотрела на меня с тем особым выражением, которое означает, что вопрос задан, но ответ, возможно, будет дороже, чем я думаю.

– У Семена в подвале, наверное, – сказала она. – Или на даче. У него там сарайчик.

– Аркадьевна, – с легким упреком сказала та, что в халате.

– Что – Аркадьевна? – та пожалала плечами. – Пусть ищет. Она следователь.

Я закрыла блокнот.

– Спасибо, – сказала я. – Вы очень помогли.

– Да чего там, – махнула рукой та, что в халате. – Жалко Вальку. Хороший мужик. И квас у него, между нами, правда неплохой вышел.

Аркадьевна на это не ответила, но выражение ее лица ясно давало понять, что сравнительная дегустация состоится позже, без моего участия, и мнения разойдутся.

Я записала их данные, попрощалась и пошла.

Итак: велосипед видели. Свидетели есть. Мотив задокументирован в народной памяти с такой точностью, что позавидовал бы любой криминалист. Дело о похищении транспортного средства стоимостью в двадцать лет совместной жизни и одном конкурсном рецепте разворачивалось передо мной с пугающей стройностью.

Оставалось только поговорить с самим Лопатиным.

Его дом стоял через два дома – старый четырехэтажный кирпич цвета давно принятого государственного решения, по которому все жилые постройки должны быть унылыми. Таблички с номерами квартир у подъезда не было. Была, правда, надпись от руки на куске картона, криво приклеенном к двери: «1–16 этаж 1–4». Кто-то явно думал о будущем.

Я поднялась на второй этаж. Квартира восемь. Дверь обита дерматином, с правого края немного отошедшим, под которым угадывалась вата. Я нажала кнопку звонка.

За дверью – тишина.

Я подождала. Нажала еще раз.

На этот раз – возня. Потом шаги. Медленные, немного шаркающие шаги человека, которого подняли с дивана и который пока не решил, оценивает ли он это по достоинству.

Дверь открылась.

Передо мной стоял мужчина лет сорока – сорока пяти, в застиранной футболке и спортивных штанах с вытянутыми коленями. Волосы слегка всклокочены. Вид человека в выходной, который планировал провести его тихо и без происшествий. Он смотрел на меня с выражением легкой растерянности.

– Лопатин Семен? – спросила я.

– Да, – сказал он с той интонацией, которая добавляет невысказанное «а в чем, собственно, дело». – А Вы кто?

Надо же. Единственный человек в Вереске, до которого, судя по всему, новость о новом следователе еще не дошла. Или дошла, но он выходной.

– Корвина Александра Игоревна, – сказала я, предъявляя удостоверение. – Следователь. У меня к Вам несколько вопросов.

Он посмотрел на меня. Потом на удостоверение. Потом снова на меня – уже с тем выражением, которое я за десять лет научилась читать безошибочно. Не страх. Не злость. Именно вот это, когда человек понимает, что выходной закончился.

– Проходите, – сказал он, посторонившись.

Я прошла в коридор.

Первые несколько секунд – профессиональная привычка – я фиксировала обстановку автоматически, как всегда. Годы следственной работы делают из тебя что-то среднее между детектором лжи и напольным сканером:ходишь в помещение и немедленно начинаешь читать его, как текст. Правда, за четыре года в особо тяжелых я привыкла читать несколько иные тексты. Там, как правило, жанр был выражен отчетливо – криминальная драма в трех действиях со стрельбой и неприятными уликами на полу. Здесь же передо мной разворачивался бытовой очерк из серии «обычная квартира средней руки, хозяин не богат, но аккуратен, что само по себе уже характеристика».

Квартира выглядела опрятно. Не идеально – ремонт здесь последний раз делали, судя по всему, в то время, когда слово «норд» существовало исключительно применительно к геогра-

фии, – но чисто. Обоим местами пошли пузырями. Плинтус в одном месте отошел. Вешалка в коридоре была нагружена по всем несущим нормам. Все это я отметила, потому что не отмечать не умею, и тут же поняла, что из всего перечисленного для дела о похищенном велосипеде не важно абсолютно ничего.

– Пойдемте на кухню, – сказал Лопатин и, не дожидаясь ответа, направился туда сам, с видом человека, который, может, и не рад визиту, но хотя бы готов его перенести в более цивилизованных условиях.

Я пошла следом.

Кухня оказалась небольшой, но, вопреки всем жизненным ожиданиям, чистой. Даже неожиданно чистой для закоренелого холостяка, а то, что он холостяк, я определила еще в коридоре: ни женской обуви у двери, ни второй куртки на вешалке, ни того неуловимого следа присутствия другого человека, который опытный следователь чует носом. Цветастые шторы – явно не его выбор, скорее всего, достались вместе с квартирой или от мамы. Цветы на подоконнике – три горшка, политы недавно, земля еще темная. Это уже интереснее: цветы требуют внимания, а значит, человек не совсем пустой. На столе баночки со специями в количестве, которое свидетельствовало либо о подлинном кулинарном интересе, либо о том, что специи ему кто-то дарит, а выбрасывать жалко.

Я подумала о квасе. Посмотрела на специи. Снова подумала о квасе.

Все сходилось.

– Чай, кофе? – спросил Лопатин, беря чайник.

– Нет, спасибо, – ответила я.

Я уже давно выработала правило: чай не пить, кофе не пить, ничего не есть. Отчасти из соображений профессиональной дистанции, отчасти потому, что иначе некоторые беседы рисковали растянуться до ужина, а ужин объективно плавно переходил в завтрак, и потом уже было непонятно, кто кого допрашивает. Здесь, конечно, речь шла о велосипеде, а не об организованной преступной группе, и опасность такого сценария была минимальной, но принципы на то и принципы.

– А я, если Вы не против, налью себе чаю, – сказал Семен с той осторожной вежливостью, которая означала «я спрашиваю из приличия, но сделаю в любом случае». – Со смены еще не проснулся.

– Конечно, – сказала я.

Он набрал воды в чайник, поставил на плиту. Чиркнул спичкой – плита была газовая, с конфоркой, которую надо было поджигать вручную. Такая же, как у моей бабушки. Я почти почувствовала себя на даче в детстве, что в сочетании с профессиональным блокнотом и удостоверением в кармане создавало некоторый когнитивный диссонанс.

– О чем Вы хотели поговорить? – спросил он, доставая с полки кружку и пристраивая в ней заварку. Голос ровный, без лишней нервозности. Либо спокойная совесть, либо хорошая выдержка, либо он просто еще не до конца проснулся.

Я открыла блокнот.

За годы работы я задавала этот вопрос в разных обстоятельствах. В больничных коридорах. На месте происшествия под открытым небом, когда осенний дождь методично размывал протокол прямо под рукой. В переговорных комнатах, где вентилятор либо не работал, либо работал так, чтобы никто не расслаблялся. Вопрос всегда звучал одинаково. Потому что это один из тех вопросов, от которых никуда не денешься: с него все начинается, им все проверяется, и именно по реакции на него ты понимаешь, стоит ли разговор дальше вашего общего времени.

– Что Вы делали в прошлую среду в девять вечера? – спросила я.

Семен поставил кружку на стол. Не резко – аккуратно, как человек, который привык не шуметь. Ночные смены вырабатывают такую привычку.

Он обернулся. В глазах что-то промелькнуло – не испуг, скорее то характерное выражение человека, который только что понял, что разговор перестал быть светским.

– А что, собственно, произошло? – додумался спросить он.

Вот этот вопрос я особенно люблю. За десять лет работы я слышала его в самых разных интерпретациях, с разной интонацией и с разной степенью искренности. «А что произошло?» – это классика. Это такой универсальный вопрос, который произносят либо тогда, когда действительно не понимают, за что к ним пришли, либо тогда, когда очень хорошо понимают, но надеются, что, если спросить достаточно невинным голосом, реальность как-нибудь переиграет сама себя.

Я закрыла блокнот. Пока – ненадолго.

– Поступило заявление о пропаже велосипеда марки «Рифей» у гражданина Тополева Валентина Николаевича, – сказала я. – Вы знаете его?

Пауза. Чайник на плите уже начинал подавать первые признаки жизни – тихое, почти медитативное гудение, совершенно неуместное на фоне разворачивающейся картины следственного действия по делу о велосипеде. Семен потянулся к ложке, помешал заварку, которую еще не заливал кипятком. Просто так. Для рук.

– Знаю. Дружим, – ответил он.

Последнее слово он произнес в настоящем времени. Я отметила это. Либо еще не успел переосмыслить ситуацию в свете последних событий, либо оптимист по натуре.

– Или дружили? – спросила я с той интонацией, которую за годы работы отточила до состояния скальпеля. – У меня есть показания двух свидетелей, которые видели, как Вы в среду, в районе девяти вечера, забрали велосипед.

Вот тут он оставил ложку. Аккуратно, почти торжественно. Повернулся ко мне. И в лице его произошло нечто такое, что я бы назвала «распряжением внутреннего хребта». Такое бывает у людей, которые считают себя правыми. Глубоко, принципиально, почти философски правыми, и именно это ощущение собственной правоты в сочетании с велосипедом и составляло сейчас главную угрозу продуктивности нашего разговора.

– Он украл мой рецепт, – сообщил Семен с той интонацией, с которой обычно произносят что-то вроде «земля круглая» или «вода мокрая». – Я забрал его велосипед.

Я некоторое время смотрела на него.

Мне доводилось слышать разные объяснения. Разные мотивы. Разные логические конструкции, которые внутри чьей-то головы выглядели совершенно стройно, а снаружи напоминали архитектуру эпохи позднего авангарда – смело, самобытно и совершенно непригодно для проживания. Но «он украл мой рецепт, я забрал его велосипед» – это было что-то новое. Свежее. Почти освежающее, как квас в июльскую жару. Тематически, кстати, уместное.

Я открыла блокнот.

– У Вас есть доказательства того, что он украл Ваш рецепт? – спросила я. – Свидетели? Документы? Хоть что-то материальное, что может подтвердить Вашу позицию?

Семен открыл рот.

– Потому что, – продолжила я, не давая ему вставить слово раньше времени, – это, во-первых. Во-вторых: Вы совершили противоправное действие в отношении чужой собственности. Статья соответствующая, последствия – вполне конкретные, и никакой рецепт – будь он хоть трижды золотым, хоть зафиксированным на скрижалях – не является юридическим основанием для самостоятельного изъятия чужого имущества. Если Вы были уверены, что Ваш рецепт украли, – я сделала паузу, давая словам осесть, – существует управление полиции. Оно работает. Там сидят люди, в том числе, как выяснилось, и я. И именно для того, чтобы подобные ситуации не решались в девять вечера у чужого забора путем уголовно наказуемой самодеятельности.

Чайник закипел.

Семен смотрел на меня с видом человека, которому только что объяснили, что его безупречная жизненная логика имеет ряд процессуальных изъянов.

– Про забор – это тоже в заявлении? – спросил он после паузы.

Я посмотрела на него.

– Тополев Валентин Николаевич – человек обстоятельный, – сказала я.

Семен налил воду в кружку из закипевшего чайника, и с видом человека, смирившегося с неотвратимостью бытия, присел на табуретку. Табуретка скрипнула. Или это скрипнула его совесть – в старых домах акустика обманчивая.

– Вы меня теперь арестуете? – спросил он, не поднимая взгляда.

Я мысленно взвесила варианты. С одной стороны – самоуправство, чужое имущество, статья вполне конкретная. С другой – велосипед «Рифей», рецепт кваса, забор на дачном участке. Это было мое первое дело в Вереске. Первое.

Я видела вещи, от которых у нормального человека волосы встают дыбом и остаются так навсегда. И вот я сижу на кухне, пропитанной запахом хлеба и солода, напротив мужчины, который совершил велосипедный самосуд во имя кулинарной справедливости.

Вереск – это отдельный разговор.

– Если сегодня, по возвращении с работы, Тополев обнаружит свой велосипед на месте, – сказала я, – будем считать, что Вы отделались предупреждением.

Семен поднял голову. В глазах мелькнуло что-то, что в другом контексте я бы назвала надеждой, а в этом – назову осторожным оптимизмом человека, который только что понял, что скала, на которую он летел, все-таки немного сдвинулась в сторону.

– Я Вас услышал, – кивнул он. – Я верну велосипед.

– Отлично. – Я закрыла блокнот.

Встала, одернула пиджак и пошла на выход. Семен поплелся следом, с видом слегка повеселевшим, почти воздушным. Человек, с плеч которого только что сползла перспектива задержания за самоуправство, двигается именно так: немного вприпрыжку внутри, снаружи – изо всех сил сохраняя достоинство. Я этот тип реакции изучила досконально. В особо тяжких, впрочем, финал разговора редко сопровождался таким облегчением, там облегчение у фигуранта наступало разве что от того, что я уходила, не предъявив ничего сверх ожидаемого.

Здесь я уходила, и фигурант нес свою велосипедную вину обратно к ней, в конюшню совести, откуда ей, видимо, уже не суждено было вырваться.

Выйдя из дома, я остановилась на крыльце и огляделась.

И вот тут меня накрыло – тихо, почти незаметно, как теплый ветер с реки.

Вереск.

За этой беготней – первый рабочий день, Тополев с его заявлением, ориентирование на местности, поиск дома Лопатина по описанию, которое мне собственно Тополев и дал («идите по главной до кривой березы, потом направо, там еще петух на заборе нарисован, только краска облезла, но петух угадывается») – я совершенно не рассмотрела город. Не то что с профессиональной точки зрения. Просто – не посмотрела.

А он был ничего.

Маленький, немного сонный, с домами, которые явно помнили времена, когда их строили с запасом на века и на детей, и на внуков, и на гостей, которых никто не звал, но которые все равно приедут. Деревья у заборов – настоящие, старые, с той солидностью, которая бывает только у тех, кто пережил уже достаточно вёсен, чтобы перестать по ним волноваться. Где-то вдалеке – запах выпечки, откуда-то с другой стороны – лай собаки, не тревожный, а так, информационный: я тут, все фиксирую, можете не беспокоиться.

Я не спеша двинулась в сторону управы, засунув руки в карманы.

Идти было приятно. Это тоже было новое – в городе я ходила по делу, быстро, с конкретной точкой назначения и заранее известным маршрутом. Здесь маршрут я примерно понимала,

но никуда особо не торопилась, и это создавало непривычное ощущение – почти туристическое.

Хотя какой из меня турист. Я следователь, у меня первое дело, и оно – кража велосипеда вследствие рецептурного конфликта. Пусть Тополев успокоится. Пусть Семен вернет велосипед и, желательно, помирится с соседом хотя бы до следующего урожая. Пусть Вереск продолжает пахнуть выпечкой и существовать в своем размеренном ритме, в котором главным событием недели, видимо, является именно это дело.

Я мысленно сделала пометку: зайти в магазин.

Необходимость эта была насущной и многоуровневой. В управе, куда меня определили, из предметов первой необходимости наличествовала только мебель.

Кружки, например, не было.

Это было принципиально. Я человек, который думает лучше с кофе. Не физиологически – психологически. Кружка в руке – это якорь, точка сборки, тактильное напоминание о том, что мир устроен и ситуация под контролем, даже если ситуация – это велосипед и рецепт кваса, который унес с собой много лет соседской дружбы и один дачный забор.

Кружка. Кофе. Может быть, печенье – если в местном магазине окажется что-то приличное.

Я огляделась еще раз, теперь уже прицельнее, выискивая вывески. Вереск смотрел на меня обратно – спокойно, с достоинством и легким любопытством. Как смотрит город на нового человека, который явно приехал надолго и еще не знает, что именно его здесь ждет.

Я, признаться, тоже не знала.

Но кружку, куплю сегодня же.

Универмаг обнаружился ровно в квартале от управы, что само по себе уже говорило о Вереске больше, чем любая туристическая брошюра, если бы таковые существовали. Квартал. Не пятнадцать минут пешком, не «сверните за угол, потом прямо, потом спросите у Тамары Николаевны». Квартал. Я почти прониклась уважением к городской инфраструктуре.

Назывался он, судя по вывеске, исполненной в жанре «синяя краска и оптимизм», просто «Универмаг». Без претензий. Без концепции. Универмаг, и все тут. Заходи, бери, что нужно, не задерживайся у витрин, люди работают.

Я зашла.

Внутри пахло свежим хлебом, хозяйственным мылом и той особой смесью запахов, которая бывает только в магазинах, существующих дольше, чем помнит себя самый старый из их покупателей. Такой запах нельзя создать искусственно – он складывается десятилетиями, слой за слоем, как геологическая порода. В городских супермаркетах его нет. Там пахнет вентиляторами и тревогой.

Я побрела по рядам без особой системы, что для меня нетипично, я человек списков, маршрутов и приоритетов. Но здесь маршрут сам собой задавался расстановкой полок, а приоритеты как-то органично подстраивались под то, что попадалось на глаза.

Кружку нашла достаточно быстро – большую, белую, с синей каемочкой, без надписей и рисунков. Это принципиально. Я не хочу пить кофе из кружки с надписью «Лучшему Сотруднику» или с котенком, который призывает меня улыбаться. Мне не нужны такие отношения с посудой. Мне нужна кружка, которая выполняет свою работу тихо и без инициативы.

Кофе тоже нашелся, и не какой-нибудь, а вполне приличный, молотый, в жестяной банке, с видом на условные горы на этикетке. Горы были нарисованы с энтузиазмом, если не с талантом. Я взяла две банки. На второе дело одной может не хватить – там сюжет обещает закрыться еще интереснее.

Печенье. Вот тут я задержалась дольше, чем планировала. Потому что выбор оказался неожиданно серьезным, не в смысле изысканным, а в смысле требующим принятия решений, к которым я была не вполне готова. Овсяное, сахарное, с повидлом, без повидла, круглое, квад-

ратное, в пачках, на развес, с орехами, которые при ближайшем рассмотрении оказывались изюмом. Я стояла перед этим великолепием с видом человека, которому только что предложили разминировать объект без схемы.

В итоге взяла овсяное. Классика. Не подведет.

А потом я увидела кипятильник.

Он лежал в отделе хозтоваров – скромно, между воронкой для консервирования и набором прихваток с петухами – и смотрел на меня с той простодушной готовностью к службе, которая бывает только у по-настоящему полезных вещей. Маленький, никелированный, с тканевым проводом в оплетке.

Я взяла его, не раздумывая.

Потому что у меня в кабинете нет чайника. Нет электроплитки. Если я хочу пить кофе на рабочем месте, а я хочу, это не обсуждается, это условие профессиональной пригодности – мне нужен кипятильник. С кружкой. И кофе. И вот этим печеньем.

Я несла это все к кассе с видом человека, который решил важный стратегический вопрос, и в общем-то так оно и было.

Канцелярию, впрочем, решила выбивать из управления. Это другое. Ручки, бумага, папки для дел – это казенное имущество, это расходы государственные, это не моя личная инициатива. Пусть местный бюджет озаботится тем, чтобы следователь имела чем писать протоколы о краже велосипеда. Кружку я себе куплю сама. Скрепки – нет. Скрепки пусть выдают.

Это, если подумать, и есть граница между личным и служебным.

Я ее блюду.

Когда я выходила из универмага, меня перехватила невысокая женщина лет пятидесяти, с решительностью человека, который давно перестал ждать удобного момента и перешел к тактике перехвата.

– Простите, Вы новый следователь? – спросила она.

– Да, это я. Александра Игоревна. У Вас что-то случилось?

– Случилось, деточка, случилось. – Она подхватила меня под локоток с уверенностью, которая не предполагала возражений. – Удели мне время.

И, не дожидаясь моего согласия, потянула в сторону скамейки.

Я позволила себя тянуть. Пакет с кружкой, кофе, печеньем и кипятильником оттягивал одну руку, женщина оттягивала другую – симметрия, которую я не планировала, но которая почему-то казалась правильной. Скамейка стояла под липой, в пятне тени, сентябрьской, уже по-настоящему прохладной. Мы сели.

– Меня зовут Валентина Степановна Орлова, – сказала она, и произнесла это так, как произносят не имя, а заявление. – Моя дочь пропала.

Я достала блокнот. Это рефлекс. Я достаю блокнот даже когда стою в очереди за хлебом и кто-нибудь рядом говорит что-то интересное. Условный рефлекс, выработанный за десять лет службы и не поддающийся коррекции.

– Когда? – спросила я.

– В феврале. – Она сложила руки на коленях. – Седьмого февраля я позвонила ей на работу, потому что домашний не отвечал. На работе сказали, что она не появлялась уже три дня. Я пошла к ней на квартиру – она снимала комнату у Анжелины Никитичны на Садовой. Комната пустая. Вещей нет. Хозяйка говорит – уехала, мол, рассчиталась и уехала, еще в конце января.

– Маше сколько лет?

– Двадцать три. – Валентина Степановна посмотрела на меня, и во взгляде была та особенная смесь надежды и усталости, которая появляется у людей, которые уже много раз объясняли одно и то же и не были услышаны. – Маша – Мария Орлова. Работала лаборанткой в

городской больнице. Серьезная девочка, ответственная. Никогда без предупреждения не пропала. Даже когда в турпоход ходила на три дня, оставляла записку.

Я записала. Февраль. Семь месяцев. Комната пуста. Вещей нет. Работу бросила без предупреждения.

– Вы обращались в управление полиции?

Здесь Валентина Степановна сделала паузу. Такую паузу, которую в литературе описывают как «красноречивую». Потом она открыла рот.

– Я обращалась к Марку Андреевичу Северову.

– И?

– Он объяснил мне, – она произнесла это слово с интонацией, с которой обычно произносят «соизволил», – что молодежь нынче тянется в большие города. В столицу. Что в Тихославле Маше открываются перспективы, которых в Вереске нет. Что это, – она слегка подняла подбородок, – совершенно нормальное явление.

Я прекратила писать. Просто посмотрела на нее.

– Он сказал это женщине, которая пришла к нему с заявлением о пропаже дочери?

– Он сказал это женщине, которая пришла к нему с заявлением о пропаже дочери, – подтвердила Валентина Степановна тоном секретаря, зачитывающего протокол. – Добавив, что дочери уже не шестнадцать лет и она вправе сама решать, куда ей ехать. И что беспокоить государственные органы по поводу самостоятельно принятых взрослыми людьми решений – это, знаете ли, нецелевое расходование государственного ресурса.

Нецелевое расходование государственного ресурса. Северов сказал это живому человеку, пришедшему искать живого человека.

Я сделала в блокноте пометку, которую не стану здесь воспроизводить, поскольку это служебный документ, и я все-таки профессионал.

– Маша писала Вам? Звонила? После февраля?

– Ни разу. – Голос у Валентины Степановны был ровный, но именно тем особым образом, каким он бывает ровным у людей, которые держатся из последних сил и давно уже научились это скрывать. – Я ей написала четыре письма на адрес прежней квартиры – три вернулись. Четвертое не вернулось, но ответа тоже нет. Позвонила на больницу еще раз в марте – там другая лаборантка. Пробовала навести справки в Тихославле сама – у дальней родственницы. Маши там нет. Никто ее там не видел.

– Дело так и не открыли?

– Марк Андреевич, – произнесла она с той же секретарской интонацией, – объяснил мне, что оснований недостаточно. Что отсутствие писем не является доказательством беды. Что молодые женщины, переезжая в столицу, нередко начинают новую жизнь и отдаляются от семьи. Что это, опять же, нормально.

Я смотрела в блокнот. Февраль, думала я. Семь месяцев. Молодая женщина, которая всегда оставляла записки перед трехдневным походом, не объявляется семь месяцев, и это нормально. Новую лаборантку в больнице нашли за месяц. Четыре письма. Одно не вернулось. В Тихославле ее нет.

Вещей в комнате тоже нет, напомнила я себе. Это всегда неудобная деталь. Когда вещи исчезают вместе с человеком – это может означать добровольный отъезд. А может означать кое-что другое. И разница между этими двумя вариантами имеет значение.

– Валентина Степановна, – сказала я, – у Вас есть фотография Маши?

Она уже держала ее наготове. Маленькая карточка, черно-белая, чуть потертая по краям от частого извлечения из кармана. Молодая женщина с темными волосами, серьезным лицом и взглядом человека, который не имеет привычки улыбаться просто потому, что его фотографируют.

Я взяла карточку аккуратно, за уголок.

– Я оставлю себе? Сделаю копию и верну.

– Оставьте. – Она, кажется, слегка выдохнула – первый раз за все время нашего разговора.

– У меня дома есть еще.

Я записала все, что она рассказала. Адрес Пелагеи Никитичны на Садовой. Название больницы. Имя заведующего лабораторией, который, по словам Валентины Степановны, был Машей вполне доволен и об увольнении не предупрежден. Адрес дальней тихославльской родственницы, куда Маша якобы должна была стремиться за новой жизнью и перспективами, но не застремилась.

– Больше к Северову не ходите, – сказала я, закрывая блокнот. – Если понадобится – я сама с ним поговорю.

Это был намек, который она поняла правильно.

– Значит, вы займетесь? – спросила она.

– Я посмотрю на то, что есть. Что найду – скажу. Телефон у Вас есть?

– Есть.

Она продиктовала. Я записала. Мы поднялись со скамейки одновременно – она маленькая, прямая, с тем достоинством, которое не покупается и не занимается, а зарабатывается годами стояния на своем вопреки всему.

– Деточка, – сказала она на прощание, снова подхватив меня за локоть, на этот раз ненадолго и совсем легко. – Ты уж не как Северов.

– Постараюсь, – сказала я.

Это была не обещание. Это было намерение. Разница, опять же, имеет значение.

Я шла обратно к управе с пакетом в одной руке, блокнотом в другой и ощущением, которое я давно научилась распознавать – что-то между тяжестью и ясностью, которое появляется, когда дело еще не началось, но уже началось.

Северов, подумала я. Нецелевое расходование государственного ресурса.

Кипяtilьник в пакете глухо звякнул о жестяную банку с кофе.

Кофе понадобится.

Всю дорогу до управления я думала о Маше Орловой и о природе человеческого идиотизма в целом и Северова в частности.

С одной стороны, я понимала логику. Взрослая женщина, вещи собраны, записки нет, зато есть родственница в другом городе и предположительно личные мотивы для исчезновения. Все чисто, Северов умыл руки, дело закрыто не открываясь. Классика жанра. Я за десять лет видела таких Северовых в количестве, достаточном для формирования устойчивого клинического отворачивания.

С другой стороны – семь месяцев. Семь. Человек, который оставлял записки перед трехдневным походом, молчит семь месяцев, и это у нас называется «уехала строить новую жизнь». Интересная жизнь. Настолько новая, что ни одного письма, ни одного слова, ни единого знака существования на этой планете.

Я мяла в кармане уголок фотографии и думала, что Маша Орлова смотрит с карточки именно так, как смотрят люди, которые привыкли, что их не слышат. Серьезно. Без претензий. Просто как факт.

Еще я думала о кофе. Кипяtilьник в пакете намекал, что это вполне осуществимо.

К управлению я подошла в настроении, которое можно охарактеризовать как «деловое с элементами мрачного оптимизма», то есть в своем обычном рабочем состоянии. Толкнула дверь, переступила порог и немедленно наткнулась на первую странность дня.

Пост дежурного пустовал.

Я остановилась. Посмотрела на пустой стул. На стол с журналом, кружкой и очками, аккуратно сложенными дужками вверх. На отсутствующего Петровича, который по всем законам бюрократической вселенной должен был присутствовать.

Петровича не было.

Я огляделась на предмет пожара, потопа или иных форс-мажорных обстоятельств, способных законно снять человека с поста. Форс-мажора не наблюдалось. Управление дышало обычным послеполуденным покоем провинциального учреждения – где-то скрипнула половица, капала вода из плохо закрытого крана, тихо существовали стены.

Голоса я услышала с лестницы.

Не тревожные голоса. Не деловые. Такие голоса, каким разговаривают с младенцами, с цветами, которые плохо растут, и с животными всех видов и размеров – мягкие, уютные, чуть приглушенные голоса людей, занятых чем-то, что они сами считают важным и трогательным.

Голоса доносились из моего кабинета.

Я остановилась перед дверью. За дверью явственно произносили что-то вроде «ну кто у нас хороший» и «да не вертись ты» и, если мне не изменял слух, «Маргарита Степановна, Вы ему сметаны много дали, он же не резиновый».

Я открыла дверь.

Это был кошачий рай. Натуральный. В миниатюре, но с претензией на полноту охвата.

Философ обнаружился на моем столе – в позе, которую я про себя немедленно окрестила «морская звезда в состоянии глубокого дзена». Все четыре лапы были раскинуты в стороны с той непринужденной грацией, которая дается только существам, искренне убежденным, что весь мир существует исключительно для их удобства. Хвост свешивался с края стола и едва заметно подрагивал на конце – признак высшего кошачьего довольства.

Наглаживали его в четыре руки.

Петрович – вот он где обнаружился, Петрович, государственный служащий, дежурный, человек при исполнении – стоял с одной стороны стола и сосредоточенно чесал Философа за ухом с видом человека, выполняющего ответственное задание. Маргарита Степановна занимала другую сторону и работала по направлению живота, методично и с явным удовольствием.

Кот принимал это как должное.

Я перевела взгляд на пол у батареи.

Пол у батареи был заставлен мисочками, тарелками и даже блюдцем. Рыба присутствовала – это я еще помнила с утра. Молоко тоже. Но к ним прибавились сметана на блюдечке, и то, что при ближайшем рассмотрении оказалось мясом. Настоящим. Порезанным.

Я подумала, что у меня в Тихославле был коллега, который жаловался, что его жена кормит кота лучше, чем семью. Я тогда считала это преувеличением.

Сейчас я смотрела на батарею и думала, что Философ питается лучше, чем я. Возможно, лучше, чем весь личный состав управления Вереска вместе взятый. И он здесь без году неделя – как и я, собственно. Только он, судя по всему, уже вполне освоился.

– Господа, – сказала я.

Голос у меня получился именно такой, какой нужен в подобных обстоятельствах – ровный, спокойный, с той особой интонацией, которую за десять лет практики я отточила до автоматизма и которая у людей с опытом взаимодействия с правоохранительными органами вызывает рефлекторное желание выпрямиться и объяснить свое местонахождение.

Петрович выпрямился. Маргарита Степановна не выпрямилась, но руку убрала.

Философ приоткрыл один глаз, оценил ситуацию и закрыл обратно. Его в происходящем явно устраивало все.

– Что здесь происходит? – спросила я, хотя, положив руку на сердце, происходящее было совершенно очевидно.

Просто иногда людям нужно объяснить вслух. Вслух оно звучит иначе.

За десять лет следственной практики меня пытались запугать, переспорить, перекричать, однажды – бросить в меня пепельницей (промахнулись), и дважды – разжалобить до слез (не вышло). Но атаку Маргариты Степановны я, признаться, не предвидела.

– Александра Игоревна! – выдвинулась она мне навстречу таким образом, что я инстинктивно проверила взглядом, нет ли у нее за спиной группы поддержки с транспарантами. Группы поддержки не было. Зато интонация была – из тех, которыми оперируют люди, давно решившие, что моральное превосходство является достаточным основанием для наступательной тактики. – Как Вы так можете?

Я сделала то, что делаю всегда, когда мне задают вопрос, ответ на который мне неизвестен: переспросила.

– Могу что?

– Вы взяли на работу кота, – произнесла Маргарита Степановна с такой скорбью, как будто речь шла о тяжком должностном преступлении, – и бросили его одного в кабинете. Одного! Он бедный, голодный, без внимания.

Я посмотрела на «бедного и голодного».

Философ лежал посреди моего стола, и смотрел на меня с таким безмятежным достоинством, с каким смотрят существа, твердо знающие, что жизнь удалась. Вид у него был такой, что единственное, о чем он сейчас мог бы скорбеть, – это отсутствие виноградной лозы над головой и человека с опахалом по правую руку.

Я мысленно зафиксировала несколько наблюдений.

Первое: Философ провел без меня от силы четыре часа. За это время он успел получить полный пансион, персональный обслуживающий персонал в количестве двух человек и, судя по всему, безоговорочную сердечную привязанность всего присутствующего личного состава. Я в Вереске второй день и до сих пор не знаю, где здесь нормально заваривают кофе.

Второе: Петрович – государственный служащий, дежурный, человек при исполнении – смотрел на меня с таким выражением, которое я в свое время наблюдала у свидетелей, застигнутых на месте не то чтобы преступления, но определенно чего-то, что они предпочли бы не объяснять следователю. Это было любопытно.

Третье: Философ, сволочь, чуть заметно шевельнул кончиком хвоста. Ровно так, как он всегда это делает, когда доволен собой сверх всякой меры.

– Коллеги, – сказала я, и голос у меня получился именно такой, который за десять лет выработался сам собой для подобных ситуаций – ровный, без повышений и понижений, в которых тоже заключена информация, – я искренне благодарна вам за то, что не дали коту помереть от скуки и голода. А теперь прошу вас покинуть мой кабинет.

Формулировка «прошу» в данном контексте, разумеется, означала не просьбу.

Петрович это понял. Маргарита Степановна – тоже, хотя и без видимого удовольствия. Дверь за ними закрылась.

Я обвела взглядом кабинет.

Кабинет смотрел на меня обратно. Философ с нескрываемым самодовольством. Мисочки – молча, но красноречиво. Их было, хочу отметить, четыре штуки. И одно блюдо. У меня в Тихославле на всю следственную группу был один казенный чайник с отколотой крышкой и к нему полагалось относиться бережно.

– Ну, – сказала я, без особой надежды на содержательный ответ, – и что ты тут устроил?

Философ вальяжно перекатился на бок – так, как перекатываются существа, у которых нет ни единой причины торопиться, – а потом, видимо решив, что поза лежа недостаточно соответствует серьезности момента, сел. Выпрямился. Посмотрел на меня с достоинством существа, которого только что незаслуженно заподозрили в чем-то предосудительном.

– Кому-то из нас, – произнес он, – необходимо налаживать связи с новыми коллегами. Вот я пока ты бегала по городу, и налаживал.

Я открыла рот. Закрыла.

– Теперь это так называется?

– Именно, – подтвердил Философ с непробиваемым спокойствием. – Нетворкинг. Если хочешь – восхваляй меня. Я в процессе нетворкинга узнал много интересной информации. И возможно, – тут он сделал паузу, которую я мысленно квалифицировала как «намеренно затянутую» – возможно, даже поделюсь ею с тобой.

– Это великодушно, – сказала я.

– Я вообще великодушный, – согласился он без ложной скромности.

Я начала выгружать покупки на стол. Философ следил за процессом с нарастающим интересом, который по мере разворачивания содержимого пакета трансформировался в нечто более критическое.

– Эй, – сказал он.

– Что?

– Вот что ты за человек. – В голосе его обозначилась скорбь. Настоящая, искренняя, незаслуженно обиженная скорбь. – Мне даже ничего не купила.

Я посмотрела на него. Потом на его шеренгу еды. Потом снова на него.

– У тебя, – сказала я терпеливо, – обслуживание по системе «все включено». Сметана, молоко, рыба и то, что я при ближайшем рассмотрении идентифицировала как вареное мясо.

– Это не аргумент, – отрезал Философ.

– По пути домой зайдем в магазин, – сказала я, уже нащупывая ручку –двери. – Куплю тебе что-нибудь достойное твоего нетворкинга.

Он набрал воздуха – я видела это по тому, как расширились его бока, – явно готовясь к развернутому возражению с аргументацией, и именно поэтому я не стала ждать. Дверь закрылась за мной прежде, чем он успел начать.

Мне нужна была канцелярия.

Дела сами себя не сдадут. На клочке бумаги их не напишешь. И никакой кот, сколько бы у него ни было нетворкинга и блюдецек со сметаной, не объяснит это начальству вместо меня.

Канцелярию я выбивала себе с боем.

Не в переносном смысле – в буквальном, если считать боем сорок минут переговоров с завхозом Геннадием Борисовичем, человеком, который, судя по всему, воспринимал казенное имущество как личное и выдавал его с той же легкостью, с которой расстаются с органами. Ручки он пересчитывал. Карандаши тоже. Бумагу он взвешивал на руке с таким видом, будто она была из золота, а не из целлюлозы, и если уж на то пошло – не самого высокого качества целлюлозы на свете.

– Вам зачем столько? – спросил он, глядя на мой список с нескрываемым подозрением.

– Работать, – сказала я.

– Сколько бумаги? – уточнил он.

– Я следователь, Геннадий Борисович. Бумага – это, в некотором роде, основной инструмент профессии.

Он посмотрел на меня так, будто я сказала что-то крамольное. Потом вздохнул – долго, с выражением человека, которого жизнь бьет, но не ломает, – и начал отсчитывать листы. По одному. Вслух.

Именно в этот момент, судя по всему, весть о том, что я оставила кота одного в кабинете, облетела все здание прокуратуры. Как именно она распространилась – я не знаю. Возможно, по системе вентиляции. Возможно, телепатически. К тому моменту, когда Геннадий Борисович добрался до двадцать третьего листа, в дверях кладовой успела появиться секретарь Валентина Никодимовна с выражением человека, у которого есть что сказать и молчать он не намерен.

– Он там один? – спросила она.

– Кто? – на всякий случай уточнила я.

– Котик Ваш.

– Он взрослый самостоятельный кот, – сообщила я. – С развитой социальной позицией.

Судя по лицу Валентины Никодимовны, это был не тот ответ, который она надеялась услышать. Она ушла, но через семь минут вернулась – уже с коллегой из соседнего отдела, который смотрел на меня с тем специфическим сочувствием, которое обычно адресуют людям, совершившим что-то неосознанно жестокое. Как будто я выставила беднягу не в теплый кабинет, а на январскую улицу в метель, без шапки.

Геннадий Борисович досчитал до пятидесяти и спросил, не многовато ли.

Я объяснила, что нет.

Он спросил еще раз, по-другому.

Я объяснила еще раз, тоже по-другому.

В конечном итоге я вышла из кладовой с бумагой, тремя ручками – синими, потому что черных, по заверению Геннадия Борисовича, «пока не завезли», – двумя карандашами, скрепками и папками. На ластик ушел отдельный раунд. На скоросшиватели – еще один. При этом я успела выслушать развернутое мнение о том, что в прошлом квартале бумагу «расходовали неоправданно», что некоторые сотрудники «берут и не возвращают карандаши», и что в целом «к казенному имуществу нужно относиться бережнее».

Я пообещала относиться бережно.

К тому моменту у меня уже закончилось терпение, но зато появились все необходимые материалы для работы, и именно это имело значение.

Философ, когда я вернулась, деловито сидел на подоконнике. Спиной ко мне. Хвост прямой, как антенна. Поза существа, который все понимает, но считает ниже своего достоинства это демонстрировать.

Я выгрузила канцелярию на стол, расставила папки по шкафам, ручки и карандаши убрала в ящик стола – чтобы, не расходовались неоправданно, – заварила себе кофе в новую кружку, и открыла дело Тополева.

Я взяла ручку – синюю, казенную, бережно выданную в количестве трех штук – и написала первую строчку в протоколе.

– От тебя пахнет разными мужчинами, – сказал Философ, не оборачиваясь.

Я подняла взгляд.

– Еще коровами и бабушками, – согласилась я.

– Что те коровы, – лениво протянул он.

– Что те мужчины, – повторила я и снова посмотрела в протокол. – Далась они тебе.

– Мне они не далась, – с достоинством обиженного существа произнес Философ. – Это тебе они нужны. – Тут он выдержал паузу, ту самую, намеренно затянутую, которую я к тому моменту уже научилась распознавать по особому качеству тишины. – Я читал, что у вас, у человеческих женщин, с этим все непросто. Биологические часы. – Еще пауза. – Тиканье.

Я отложила ручку.

Посмотрела на него.

Он смотрел в окно с видом существа, которое высказало глубокую и важную мысль и теперь ждет признания.

– Философ, – сказала я.

– Да?

– Ты украл у меня три минуты рабочего времени.

– Я указал тебе на проблему.

– Проблемой, – сообщила я ему, – в данный момент является то, что у меня синяя ручка, а бланк требует черной, а Геннадий Борисович заверил меня, что черных пока не завезли. Это – проблема. Биологические часы – это, знаешь ли, мое личное дело.

– У кошек тоже бывают биологические часы, – заметил он, все так же глядя в окно. – Я просто говорю.

– Ты просто говоришь лишнее, – сказала я и взяла ручку обратно.

Философ подумал. Зевнул. Переложил хвост с правой стороны на левую – что у него, как я уже начинала понимать, означало что-то вроде «разговор окончен, но последнее слово остается за мной».

За окном проехал велосипед. Не «Рифей», я машинально отметила это по звуку звонка. «Рифей» вернется вечером. Топлев получит своего железного красавца обратно, Лопатин – возможность спокойно смотреть в глаза соседу, а я закрытое дело и, что немаловажно, хоть какое-то начало в этом городе.

Я написала следующую строчку.

Биологические часы молчали. Что, честно говоря, устраивало меня значительно больше, чем если бы они тикали.

## Гл

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.